МИХАИЛ СЕТРОВ

90 ЛЕТ СВОИМ ПУТЁМ

ВОСПОМИНАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Для желания написать воспоминания всегда есть много причин, но главное – это оставить добрую память о себе. «Вероятно, нечто подобное, – утверждает автор М.И. Сетров, – было и у меня в глубине души, но главное, всё же, в другом: это настоятельные просьбы и даже требования моих близких (и даже «дальних») написать свои мемуары… Работая над воспоминаниями, я обнаружил некую общность между мной сейчас и пушкинским летописцем Пименом в древности:

На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною».

Перед читателем – удивительная исповедь от человека, чье становление – и как личности, и как ученого – произошло в недавнем бурном XX веке…

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

- Михаил Сетров
  - ○
  - ○ Предисловие
    - ■ Зачем люди пишут мемуары
  - ○ Детство
    - ■
    - ■ Во городе, да во Пскове
    - ■ Вначале был Конечек…
    - ■ Это что за остановка, Бологое иль Поповка…
    - ■ Конец детства. Война
    - ■ События в прифронтовой полосе
    - ■ Наш зимний переезд в родной Конечек
    - ■ Школа и закон божий
    - ■ Опять фронт и ещё немецкий лагерь
    - ■ Конец войны. Наш путь домой
  - ○ Юность
    - ■ Школа и верные друзья
    - ■ Я становлюсь рабочим
    - ■ Освоение Сибири
  - ○ Зрелость
    - ■ В армии как доброволец
    - ■ Путь домой и в университет
    - ■ Университет и новые друзья
    - ■ Северо-Енисейск и охотничьи приключения
    - ■ Аспирантура
    - ■ Доцент, заведующий кафедрой, профессор

- Всесоюзный семинар
- Поездка в Дрезден, ранее уничтоженный англосаксами
- Освобождение от научного бомонда, и я – в царстве природы
- Одесса, не ставшая мамой
- Мои новые матримониальные замыслы
- Истерия «самостийности» и отъезд опять в заповедник
- Австрия, Вена и их кредитное рабство
- Кавказский заповедник и его защита

○ Преклонный возраст
- Попытка призвать казачество к охране заповедника
- Перипетии судьбы
- Выход из трудностей
- О нашей жизни, смерти и бессмертии
- Моя ностальгия по Северу и поездка в Умбу
- Гипертония, ухудшение зрения и мои спонсоры

Михаил Сетров
90 лет своим путём. Воспоминания и размышления о прошлом, настоящем и будущем

© Сетров М.И., 2022
© ООО «Издательство Родина», 2022

Предисловие

Зачем люди пишут мемуары

Для желания написать воспоминания у нас, конечно, много причин, но главное – это оставить добрую память о себе. Вероятно, нечто подобное было и у меня в глубине души, но главное, всё же, в другом: это настоятельные просьбы и даже требования моих близких (и даже «дальних») написать свои мемуары. Особенно настойчиво это требовала Наталья Николаевна Стеценко – неожиданно для меня обнаружившийся в славном городе Воронеже мой биограф и даже тайный секретарь. Оказалось, что ещё в свои студенческие годы она увлекалась вопросами кибернетики, хотя и относилась к ажиотажу по поводу её возникновения очень скептически, не обнаружив для него достаточного основания. А тут вдруг в библиотеке она прочитала книгу М. И. Сетрова «Основы функциональной теории организации», и, по её словам, у неё в голове всё прояснилось. Девушка не поленилась переписать книгу от руки и навсегда осталась приверженной функциональной теории организации, хотя и претерпела из-за этого немало огорчений и даже бед. Так, по окончании вуза, она пыталась поступить в аспирантуру, предлагая тему диссертации по вопросам теории организации, но ей в этом отказали, дескать, какая там теория организации, какой там Сетров – у нас есть Винер и кибернетика, а остальное всё чепуха! Наталья Стеценко другую «кибернетическую» тему разрабатывать отказалась и поэтому оказалась вне аспирантуры. Шли годы. Наталья оставалась приверженкой функциональной теории организации, выступала по этой тематике на конференциях, видела, что эта теория становится всё более известной – в научной литературе и в Интернете миллионы ссылок, а вот о самом авторе, его судьбе ничего не известно. Об этом в печати даже возникли сетования. Так, доктор наук, профессор В. А. Сарычев в распространённой в Интернете статье «У истоков исследования по теории развития», анализирует основные положения и методы функциональной теории организации. Они изложены ещё в книгах семидесятых годов прошлого века. Он пишет, что «эти книги и сейчас удивительно современны…». И что ему «…не удалось в интернетовском информационном пространстве отследить судьбу М. И. Сетрова (сведения о его книгах есть) и получить хоть какие-либо надёжные данные о его биографии… Поэтому можно считать, что автор этих книг сделал всё, чтобы для него когда-нибудь сбылось пожелание английского писателя Хилэра Беллока: „Хочу, чтобы на моей гробнице начертали: «Его не чтили, но читали»“».

Я, конечно, благодарен В. А. Сарычеву за добрые слова в адрес моих книг, хотя о своей будущей гробнице как-то не задумывался. Вероятно потому, что, как философ, считаю для себя всё это не существенным, соглашаясь с Эпикуром: пока мы живы – смерти нет, а если она пришла, то и нас нет, так что и суетиться не о чем. К тому же у меня сформирована теория нашего бессмертия в теле и духе ввиду повторяемости нашего конечного мира и нас в бесконечной Вселенной. Современная теория вероятности утверждает, что в бесконечности все состояния равновероятны. Моего же потенциального биографа статья профессора Сарычева подвигла на большую активность в поисках М. Сетрова, его родственников, знакомых или, на крайний случай, его гробницы. И я очень благодарен Наталье Николаевне, что она меня нашла, слава богу, живого и даже ещё что-то пишущего. Но здесь для биографа возникли и проблемы этического порядка: как писать книгу о живом человеке – ведь он может не согласиться с некоторыми оценками его характера или поступков, а то и возмутиться. Сейчас по этому поводу даже в суд подают. Покойнику-то всё до лампочки, и поэтому нужно или подождать, пока дело не дойдёт до гробницы, или, самое лучшее, пусть этот «выдающийся» сам о себе позаботится и сядет писать свои мемуары. Что я и сделал!

Работая над воспоминаниями, я обнаружил некую общность между мной сейчас и пушкинским летописцем Пименом в древности:

На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною.
Давно ль оно неслось событий полно,
Волнуюся как море-океан,
Теперь оно безмолвно и спокойно.

Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходит до меня,
А прочее погибло безвозвратно…

Лиц, однако, я помню много, а вот слов, действительно, не много «доходит до меня»: многие имена и фамилии, да и различные даты, забылись. Так что я прошу меня простить тех, кого я не назвал или неправильно поименовал.

Детство

Если «предисловие» мной написано с долей юмора, то в самих воспоминаниях смешного мало, но больше драматичного, а то и трагического. Я и родился в трагических условиях голода на юге России и Украины. Здесь не место обсуждать причины и виновников этого голода, его последствий, об этом я расскажу позже, в соответствующем контексте воспоминаний. Впрочем, уже рождение любого живого существа является драмой, а иногда и трагедией. У людей они случаются чаще всего, например, когда роженица умирает, или новорождённого нечем кормить, он родился «некстати» и т. д. и т. п. – здесь у нас бывает много предлогов для драмы, а то и трагедии, так что недаром возник афоризм: дети – это цветы на могиле родителей. Одноклеточным живым существам эта сентенция соответствует полностью, поскольку любой новый организм здесь возникает в условиях трагедии исчезновения организма родительского, его раздвоения. Вот и получается, что жизнь вообще-то сплошная драма, нередко переходящая в трагедию. Похоже, и моё рождение было для моих родителей драмой, поскольку уже вскоре после появления на свет я оказался в детском доме славного города Пскова.

Во городе, да во Пскове

Себя я и помню уже в детском доме где-то в три года, по всем расчётам, с 1935 года: это тогда я «пришёл в сознание», т. е., выделил себя из среды, сформировал своё «Я» или, прямо по Фихте, – противопоставил себя «не Я». Этим «не Я» были такие же, как я, девочки и мальчики, потерявшие своих родителей, нянечки, конечно. Но особенно в памяти остался доктор, белый халат, очки и его небольшая, однако полностью открытая комната, полная игрушек, особенно гуттаперчевых, запах которых сохранился в памяти до сих пор. Кормили, похоже, хорошо, так что и сейчас помню вкус клюквенного мусса, а по поводу хлеба у меня с новыми родителями сразу же возник конфликт: мне почему-то не понравился свежеиспечённый деревенский хлеб, и я требовал городского, впадал в истерику, кричал – хочу городского! (Позже, к слову сказать, я деревенский хлеб всегда предпочитал городскому.)

Всё это внутренние условия моего нового обиталища, где я себя, собственно, и осознал. Внешний мир мне открылся с первых групповых прогулок по тихой псковской улочке, одним концом упиравшейся прямо в берег реки Псковы, за которой возвышались полуразрушенные стены псковского Кремля, а за ними величественный (по крайней мере в моих глазах) белокаменный Троицкий собор с голубыми куполами. У детского дома, занимавшего хоромы какого-то бывшего крупного псковского чиновника, имелся большой закрытый двор, на краю которого находился сарай, полный досок, по ним мы, пока не было нянечек, с увлечением лазили, рискуя быть досками заваленными. Помню ещё одно впечатление, похоже, серьёзно определившее моё «пожизненное» хобби – увлечение ружейной охотой: из окна на нашей улице я увидел охотника в сапогах с ботфортами, с ружьём и впереди бегущей собачкой. Картина для меня была такой яркой и увлекательной, что и сейчас я этого охотника вижу как наяву, и собачку тоже – белый, в черную крапинку гладкошёрстный сеттер. Вот она человеческая память – сохранение яркости образа по прошествии более восьмидесяти лет! Это при том, что недавние события мы склонны забывать напрочь.

Псков. Храм моего детства – Троицкий собор.

Момент крутого поворота в моей судьбе – усыновления меня крестьянской семьёй ближайшей псковской деревни я почему-то вот не запомнил, хотя сам переезд до неё помню хорошо. О том, как происходил выбор дитяти, мне новые родители рассказали уже гораздо позже. Выбор происходил прилюдно в большом зале столовой. Дети были заранее предупреждены и очень возбуждены, поэтому предупреждение явно было сделано напрасно, делая выбор менее обоснованным. Впрочем, на моей судьбе такой шаг администрации детдома сказался сразу и вполне определённо: возбуждённые дети прыгали и кричали: «Меня! Меня!» И только один мальчик стоял в стороне и, как говорили мне потом родители, печально смотрел на своих буйствующих товарищей. «Вот этого мальчишку мы и возьмём!» – сказал Иван Петрович Сетров, мой будущий любимый родитель. Так моя судьба определилась на долгие годы, а, по существу, на всю жизнь. В этом, вероятно, сказалось уже складывающееся самосознание, сама степень противоположности «Я» и «не Я», мера конформизма и независимости в характере.

Вначале был Конечек…

Десять километров от Пскова до деревни Конечек, где жили и работали в колхозе мои приёмные родители, мы ехали в кузове трёхтонки ЗИЛ, трясясь по псковско-гдовскому шоссе, тогда ещё мощёному грубым булыжником. Для меня эта поездка была запоминающейся. Крутя головой во все стороны, я глядел во все глаза на раскрывающуюся слева панораму полей, рассечённых довольно разнообразными по цвету нивами, а справа – гряда заросших лесом высоких холмов, сливающихся в один большой увал. Как я потом узнал, этот украшенный мачтовыми соснами и садами деревни Ваулино песчаный увал так уважительно и называется – Ваулины горы. Если смотреть с них на север, в сторону Гдова, через огромное, трёхкилометровое болото, видны домики и тополя деревни Конечек. По пути новые родители (а других я и не знал), похоже, пытаясь ознакомиться с уровнем моего интеллекта и степенью развития, задавали мне различные вопросы: «Это что там такое растёт?» – «Берёзка». Показывают на тёлку в поле: «А это кто там ходит?» – «Маленькая коровка». Ну и так далее…

Деревня Конечек расположена в километре вправо от Гдовского шоссе, где на развилке дорог нас высадили, и дальше мы шли пешком: я, то на руках у отца, то у Ольги Фёдоровны, теперь моей мамы, а то и сам бежал вперёд вприпрыжку. Почти сразу же за поворотом от шоссе в низине справа виднелась берёзовая рощица, по-местному Ямищи. За ней в поле чернело большое гумно или рига. А слева от дороги дыбились как попало плиты развороченного известняка – Плитищи. Здесь жители Конёчка (конецкие) добывали материал для фундаментов своих домов, каменных ворот, амбаров и скотных дворов. Да, жители Псковщины в устройстве своего быта отличались от крестьян центральных областей большей основательностью: во всяком случае, деревянными у них были только дома или избы, а все хозяйственные (за исключением дровяных сараев – пунь) постройки – белокаменные. И в самом расположении построек были, а в определённой мере и сейчас есть, существенные отличия. Так, скотные дворы в центральных областях стоят в стороне от жилых помещений, а здесь, как и на всём нашем Севере, они хотя и разделены стеной, но расположены под одной крышей. Эти различия обнаруживаются и во многом другом, они не случайны, а носят этнический характер, поскольку псковичи исторически являются ославившимися кельтами – лютичами, вытесненными с территории нынешней Германии германскими

племенами в седьмом-восьмом веках на наш северо-запад вплоть до северного поморья. Об этом стоит поговорить более подробно, но позже.

Как мы добрели до дома Сетровых, я не помню, и вообще огляделся вокруг уже позже, когда меня стали выпускать гулять на улицу. Дом стоял первым у въезда в деревню слева, выдвинув свой огород и садик в поле в сторону Плитищ и шоссе. Он стоял на высоком каменном фундаменте, сливаясь с хозяйственными постройками общей крышей. Двор, прикрытый каменными ажурными воротами и такой же калиткой, от въездной дороги отделялся каменным же амбаром и деревянным дровяником – пуней. Тремя крашенными голубой краской окнами дом смотрел в деревню, на его первую улочку, пересекавшую въездную дорогу и уходившую в поле. Другим концом она через два соседских дома упиралась в большой влажный луг, над которым с криком кружились гнездившиеся там чибисы. За свой назойливый резкий крик они получили не совсем приличное бранное прозвище. Не имеющая название улочка была усажена высокими берёзами, которые позже, в других городах и весях, мне часто снились. Из окон дома сквозь белые стволы берёз была видна почти вся деревня. На первом плане был невысокий плоский холм, на котором серел пожарный ангар с пожарной бочкой на телеге, со шлангами и брандспойтами, ручным насосом и железным рельсом на столбе. Позже я не раз с увлечением наблюдал, как парни, дурачась, поливали из брандспойтов друг друга мощной струёй, разрывая рубахи, а то и сбивая с ног. «Пожарка» стояла на холме не случайно, потому что из-под него пробивался холодный ключ, увлажняя широко далее раскинувшийся луг и наполняя водой вырытые под холмом «мочила», где хозяйки вымачивали лён, сотканные холсты и полоскали бельё.

За холмом, несколько поодаль, проходила главная и самая большая улица деревни. Она являлась как бы продолжением дороги, идущей через пахотные поля от северных отрогов Ваулиных гор, которые заканчивались высоким холмом – увенчанной величественными соснами Зуёвской горкой. На современной карте она обозначена более значимо как Зуёвская высота. Да, это та самая высота, но не безымянная. Она сейчас является памятником нашей военной славы, хотя долгие годы после войны оставалась просто обезлесенным песчаным холмом, который вслед за Ваулиными горами даже было начали срывать как строительный материал. Его сохранение и возвеличивание, как исторического памятника, так и названного – «Поле памяти», не обошлось без вмешательства вашего повествователя. Но об этом более подробно далее в соответствующем месте.

Другой конец главной улиц Конечка (или, по-местному, Конецка) уже в качестве продолжающейся дороги упирался в полуразрушенную каменную ограду местного погоста-кладбища, расположенного опять же на склоне холма, где находилась в общем-то невысокая белокаменная церковь с колокольней. За церковью располагались «хоромы» настоятеля церкви. А ещё далее и даже выше церкви махала крыльями, судя по цвету, кирпичная мельница. Мимо мельницы поднималась вверх по увалу грунтовая дорога и заканчивалась на булыжниках гдовского шоссе, спускавшегося здесь с увала в прибрежье Псковского озера, которое отсюда было далеко видно. В общем, моя теперь деревня и дом, ставший родным, располагались довольно в уютной местности.

С деревней и её жителями меня познакомил отец, водя по гостям и представляя им их нового соседа. Я то бежал рядом с ним, то сидел у него на спине, держась за его густую тёмную лохматую шевелюру, за которую в деревне Ивана звали цыганом. Знакомство с более широкими окрестностями у меня началось с поездки в местную больницу, располагавшуюся в селе Остинка, центре Остинского сельсовета Псковского района Ленинградской области (только после войны область стала называться Псковской). Таким теперь был мой адрес проживания. В больницу же мы поехали потому, что от моих приёмных родителей соответствующие социальные инстанции требовали сделать все защитные прививки, прежде всего от оспы. Контроль этих инстанций за состоянием приёмного ребёнка был жёстким. В принципе, эта прививка должна была быть сделана давно, но у меня на левом плече, как это положено, соответствующего следа не оказалось, пришлось ехать в больницу.

Поездка для меня, конечно, была впечатляющей, поскольку ехали мы на открытой коляске по новым для меня местам. Отец, сам управлявший красивым пегим конём по имени Борис, мне называл деревни и урочища, которые мы проезжали. Как выяснилось позже, Борис раньше был их собственным конём, а теперь вот стал колхозным, о чём отец нескрываемо жалел. Это было одним из стимулов выхода из колхоза и устройство на работу проводником на железной дороге: сперва на гдовской дороге, а потом и на мурманской в Ленинграде.

С прививкой же оспы в больнице вышел казус: врачи обнаружили у меня на теле следы натуральной оспы, которой я переболел. Прививку они на всякий случай всё же сделали (она, конечно, не привилась) и похвалили моих бывших докторов за то, что они сумели спасти от оспин, сохранить моё лицо чистым. Я и сейчас им за это благодарен. А следы оспин я позже с успехом

использовал, уверяя девиц, доводя их до слёз, что это следы осколков от разорвавшейся около меня бомбы. Бомбы (и снаряды тоже) недалеко от меня во время войны действительно рвались, но до поражения осколками всё же не дошло, хотя признаки контузии однажды были. Не потому ли теперь, как говорят, такой «вумный»? Смешно, конечно, хотя и не до смеху.

В деревенское сообщество я вписывался постепенно. Началось всё с деда Кузьмы, который жил одиноко в доме прямо напротив «пожарки» и по старости в колхозе не работал, отчего я для него стал подходящим развлечением. Он катал меня на козе, единственной своей животине, и рассказывал мне деревенские байки и сплетни, в которых я мало что понимал, но зато осваивал местный говор и даже, как здесь у стариков принято, вместо «ч» стал вставлять букву «ц». Так, в байке о бедной овце, которую я помню до сих пор, наоборот, в насмешку над современным «балабольством», все «ц» поменяны на «ч»: «Бежала овча мимо нашего крыльча. Я кричу: овча, овча – на хлебча! А она как дёрнечча, перевёрнечча, а потом лежит и не шевеличча». Дед Кузьма поил меня козьим молоком и почему-то называл хохлом. Когда я спрашивал у родителей, в чём тут дело, они объясняли, что всё это потому, что у меня на лбу чёлка-хохолок.

Мало-помалу я становился колхозником. Так, однажды утром родители хватились, а меня дома нет, начались безуспешные поиски по всей деревне. Обнаружился я только к вечеру. Оказывается, парни, возившие с Плитищ камень на строительство колхозного скотного двора, увидели утром меня, вышедшего на дорогу, и прихватили с собой. Я катался с ними на камнях, а то и верхом на лошади целый день и, конечно, был в восторге. В обед меня кормили в общем колхозном застолье прямо в поле, и мне эта новизна и весёлое застолье тоже очень нравились. Отец парней изругал на чём свет стоит за то, что они всех так напугали пропажей мальчишки, но в ответ парни только хохотали.

Осмелев, я уже стал сам уходить в поле к работавшим там людям. Особенно мне было интересно смотреть, как в поле идёт молотьба спелой ржи с помощью колёсного трактора, крутившего барабан большого комбайна. Люди работали весело и споро, подавая тяжёлые снопы ржи в комбайн, оттаскивая обмолоченную солому, загружая в мешки ещё тёплую рожь. Вообще тогда, на первых порах начала колхозного дела, люди действительно работали весело и с энтузиазмом. И дело не только в том, что коллективная работа сама по себе активизирует деятельность людей, делает их труд более осмысленным, но и в том, что трудодень тогда был очень весомым – такого результата единоличник не мог получить, тем более что больший результат

колхозника обеспечивали машины. Мать мне позже рассказывала, что они на первых порах ссорились друг с другом, стараясь получить работу, которая давала бы больше трудодней, а эта работа, конечно, была более тяжёлой. Это позже государство стало всё больше выкачивать из колхозов средств, которые шли на новостройки, растущую армию и её вооружение, и трудодень становился всё более тощим. Отсюда менялось и отношение к колхозному делу, крестьяне уходили в город и на новостройки, что вскоре сделали и мои родители. Наша деревня Конечек и её колхоз были своего рода моделью всей страны. Дело в том, что на 33 двора деревни один двор оказался «кулацким», а один остался единоличным – это как раз те 3 % раскулаченных в стране крестьян и 3 % оставшихся единоличниками. Да и мировоззрение единоличника в Конечке тоже соответствовало убеждениям их единомышленников во всей стране: двое подросших к 1943 году сыновей ушли во власовскую армию и, конечно, не вернулись, как исчез и их отец.

Уже почти сразу же по моему обосновании в Конечке меня повезли показывать родителям матери в деревню Мыс, которая приютилась у леса сразу же за Зуёвской горкой и проходившей рядом одноколейной гдовской железной дорогой. Деревня была небольшой, домов с десяток, с одной улицей, вся в садах и очень уютной. Дом деда Фёдора стоял несколько в стороне, у самого леса. Сад был очень большим, огород маленьким, а от деревенской улицы «имение» отделяла широкая полоса зарослей вишни, от продажи которой Фёдор Иванович имел большую прибыль. Прямо перед домом имелся колодец. Моя названная бабушка Александра (баба Саша) не проявила ко мне особого интереса, а дед Фёдор был от неожиданно приобретённого внука в восторге и носился с ним как с писаной торбой. Прежде всего он повёл меня демонстрировать всем ближним и дальним соседям, потом мы обошли весь сад и даже вошли в сразу же за садом начинавшийся лес, где обнаружились даже грибы. Мои родители хохотали, глядя как дед подсаживает меня на яблоню, зная, как строг хозяин в отношении деревьев своего сада – не дай бог, если кто-то тронет хотя бы ветку, что касалось и дочери Ольги. По их фамилии Малышевы моих новых родичей мало кто в деревне знал, все их звали Кутузовы, а это было связано с происхождением деда и бабушки Ольги Фёдоровны, их не совсем обычной судьбой. Они были крепостными князей Кутузовых, которым когда-то принадлежала и деревня Мыс. Дед был русским мужиком, а бабушка тогда красавицей финкой, она даже не умела говорить по-русски. Красота и стала её бедствием, потому что на неё позарился отпрыск князей Кутузовых, владевший в Псковской

губернии большим числом сёл и деревень и пожелавший сделать её наложницей. Красавица категорически отказалась, и тогда князёк выдал её за самого некрасивого своего крепостного, будущего отца Александры и деда Ольги. Но насильно обвенчанные молодожёны по-семейному жили в полном согласии и потому счастливо. Дед Ольги был человеком трудолюбивым, добрым и очень «педагогично» обучал её русскому языку. Уже как семейная легенда передавался способ её обучения. На вопрос: «Иван, что такое „кобель“?», тот вставал на корточки, рукой сзади изображал крутящийся хвост и гавкал.

Детство Ольги было суровым, да и годы юности не легче. К началу гражданской войны ей было двенадцать лет, но в доме и в поле она делала всю работу одна. Старший брат Василий уже много лет был в армии, воевал. Домой вернулся в семнадцатом совершенно больным – в окопах «империалистической» так простыл, что прихватил чахотку, ни по дому, ни в поле ничего делать не мог, только лежал, и теперь его самого нужно было обихаживать. Через год он умер. Отец был дряхл по старости, а мать ещё крепкая старуха, но жутко ленивая. Притворяясь больной, она только валялась на печи и всю работу по дому и по двору свалила на дочь уже в её семилетнем возрасте. Отдушиной для Ольги была школа, но ей дали проучиться только год: дескать, нечего прохлаждаться где-то на людях, когда дома дел невпроворот. Да и вообще – написать письмо мужу в армию можешь, и достаточно. Свою малограмотность Ольга не могла простить отцу всю жизнь. В свои семнадцать лет она, как и все девчата деревни, ходили на гуляния в соседнюю большую деревню Зуи, а по престольным праздникам и в центр их сельсовета Цаплино. (Зуи – так по-местному здесь называли цапель – больших серых птиц, которых, ввиду болотистости мест, было много. Вот ведь и пушкинское Михайловское когда-то было известно как Зуи.) В Цаплино на высоком берегу небольшой речки возвышался старинный престольный храм с местной скудельницей-кладбищем, где крестились, венчались и хоронились все окрестные жители. В деревне Зуи Ольга нашла и свою любовь – весёлого, голубоглазого парня Василия, по которому она «сохла» всю жизнь. Но сватовство его не состоялось, потому что тогда ещё сильна была власть отца и он отдал дочь за полюбившего её черноволосого парня из деревни Конечек. Ольга в душе очень долго не могла смириться с содеянным над ней насилием (да, по её рассказам, она в первую ночь даже бегала вешаться). Но любовь Ивана, его весёлый и добрый характер делали своё дело, и постепенно Ольга не только смирилась, но по-своему полюбила Ивана, может быть и не как мужчину, а как

человека. Да, вот есть такое различие в любви.

Вскоре произошло расширение моего знакомства с миром, когда мы всей семьёй поехали в Псков продавать вишню деда. До станции Долгорепица Гдовской железной дороги, что находилась рядом с деревней Зуи, нас довезли на лошади. В поезде я ехал впервые, и потому мне здесь всё было интересно и ново, в том числе и маленький вокзальчик, который по сравнению с деревенскими избами мне показался огромным дворцом. В поезде, сидя у корзин с вишней, я не только с интересом поглядывал в окно, но и усиленно выковыривал ягоды сквозь щёлки в корзине. Все, в том числе и строгий дед, это видели, но только посмеивались. В новинку мне оказался и красный, громко звенящий трамвай в городе, на котором мы ехали от вокзала до торговой площади, находившейся тогда почти у самого въезда в Кремль, за стеной которого высился огромный белокаменный собор с голубыми куполами.

Полюбившийся мне дед Фёдор, увы, вскоре умер, и мы везли его в телеге по зелёной, малоезженой дороге, обросшей слева и справа ивняком, на кладбище в Цаплино. Я сидел у гроба как никогда печальный и заплаканный: это была моя первая человеческая потеря, и я не понимал того, что произошло. В Цаплино меня поразил даже не сам большой храм, а огромные по толщине, с великолепными, могучими кронами древние липы, по своей вышине превосходившие даже колокольню и закрывавшие собой сам храм. Таких деревьев я и позже никогда не видел, и не раз потом возвращался к ним в Цаплино, как по случаю, так и преднамеренно. Здесь на церковном кладбище лежат не только люди, с которыми я волею судьбы породнился, но и два мои товарища детства, и оба Володи, погибшие в юности.

Это что за остановка, Бологое иль Поповка…

После смерти Фёдора Ивановича мои родители уехали в Ленинград, а я остался с бабушкой Натальей, матерью отца. Купив пополам со сводной сестрой в дачном посёлке Красный Бор под Ленинградом домик, родители приехали за мной. Жильё здесь было дорогим, и, чтобы расплатится с хозяевами, им пришлось продать дом как в Конечке, так и в Мысу. Поездка запомнилась лишь тем, что мне для развлечения в поезде была куплена большая коробка с открытками, которые я с интересом разглядывал и тасовал как карты. Открытки были красочными, но запомнилась из них лишь одна, чёрно-белая, с изображением берега моря, песчаного пляжа и вдоль него плотной стены лиственных деревьев. Берег был пустынен и в моих глазах представлялся далёким, таинственным и загадочным. Как потом я сумел прочитать её название – это была французская Ривьера.

Переезд с Варшавского вокзала на Московский через Ленинград я не запомнил, видимо просто потому, что спал на руках у отца. Но как тот рассеянный с улицы Бассейной, я бы мог спросить, проснувшись: это что за остановка, Бологое иль Поповка? «Поповка! Поповка!» – кричал кондуктор в вагоне, и мы поспешно выгрузились на перрон ставшей знаменитой благодаря Чуковскому станции Поповка. От неё до нашего нового дома по длиннющей улице, обсаженной высокими елями и потому, видимо, названной Зелёной, мы шли почти три километра. Но зато в каком прекрасном, просто уютном месте находился наш домик! Его адрес: дом 48, Васильевский проезд, Красноборского сельсовета, Тосненского района Ленинградской области.

Но что эти административно-технические названия и цифры значат по сравнению с реальной улицей, названной проездом, но по которой никто не ездит, и она в виде широкой насыпи, покрытой зелёным ковром травы-муравы, тянется на полтора километра вдоль такой же зелёной стены леса – бора, действительно Красного. Мачтовые сосны стоят как бронзовые свечи, осенённые зелёным пламенем могучих крон. Под ними тоже море зелени в виде зарослей молодого сосняка и берёзок. Это слева от дороги, если смотреть в сторону станции. Справа несколько домов, утопающих в садах, а уж в конце «проезда» официальные здания Красноборского сельсовета, в том числе здание библиотеки, больницы, милиции и – кинотеатр в здании бывшей каменной церкви. В другую сторону от нашего дома

улица тянется недолго: справа три дома со своими садами и огородами, слева один большой двухэтажный деревянный дом, а за ним ограда небольшой, тоже деревянной церквушки с домиками священника и дьякона. В конце улица утыкается в другой проезд, соединяющий территорию раскинувшегося здесь большого совхоза с улицей Зелёной, которая выходит уже прямо на московское шоссе. Напротив нашего дома бор несколько «оттесняется» от Васильевского проезда двумя прудами – малым, что прямо за дорогой, и большим позади него, несколько слева. По существу, бор здесь заканчивался, упёршись в хозяйственные постройки совхоза, где возвышается высокая башня водокачки. Справа же от малого пруда небольшая зелёная горка – место наших будущих игрищ, как, впрочем, и весь этот бор.

Я и мой приёмный отец Иван Петрович Сетров, 1935 г.

Ольга Фёдоровна времён моего детства

С приездом к нам бабушек наша жизнь стала скудной, потому что зарплаты отца не хватало на проживание 5 человек. Нашей пищей действительно стали только «щи да каша», причём пустые: каша, приправленная только льняным маслом, а щи без мяса и какой-либо приправы. Молоко и даже творог со сметаной у нас появились на столе только после того, как мать привела из Мыса корову, находившуюся у добрых соседей. Корову мать вела пешим порядком (более 300 километров), и это было её подвигом для всей семьи. Вела она её, блуждая по лесам ивесям Псковщины и Ленинградской области, ночуя, где пришлось, и трясясь от страха, что корову отнимут, а её убьют. После этой «эпопеи» у неё стало болеть сердце, и я часто видел, как она пьёт валерьянку.

Нашу жизнь осложнял характер и поведение бабы Саши, которая не просто ссорилась с матерью, но бабушку Наталью даже била, когда родителей не было дома. Отец в эти дела не вмешивался, разбираться приходилось матери, после чего она опять пила валерьянку. Баба Саша считала корову своей, хотя кормить и доить её отказывалась. Но зато считала себя вправе определять, кому и сколько положено молока и сметаны в щах (меня, правда, она не обижала, и вообще я был её единственным любимцем в семье). Чтобы досадить дочери, она пилу и свой полушубок утопила в нашем маленьком пруду на дворе, что обнаружилось после его чистки. Для позорища дочери, несмотря на свою полную обеспеченность, стала с протянутой рукой просить копеечки прямо на перекрёстке Зелёной улицы. Мы, пацаны, без всякого сопротивления бабы Саши забирали у неё с ладони монеты, а потом бежали на станцию и в буфете пили газировку. Она считала себя очень верующей и часто бывала в церкви, куда таскала и меня. И даже познакомила с семьёй попа Игнатия, с дочерьми которого, моими одногодками, я играл в прятки. Она считала, что я некрещёный, и просила Игнатия меня окрестить. Тот отказался, поскольку, дескать, неизвестно, действительно ли я не крещён, да и родителей надо было спрашивать. Всё это продолжалось до тех пор, пока церковь не закрыли. Виновником оказалась склонность и слабость попа Игнатия к молодому поколению слабого пола – его застали с молодой певицей церковного хора прямо за аналоем. Церковь закрыли, а попа расстриг сам церковный Синод. Тут уж им некуда было деться – позорище было большим, тем более что муж певички от позора… повесился. Может быть, с тех пор я и стал сомневаться в боге.

А баба Саша всё продолжала дурить, и не скрывала своей радости, когда умерла от болезни лёгких наша бабушка Наталья. Отец был потрясён смертью матери и ходил сам не свой. И даже в этом стрессе ко мне совершил явную несправедливость – уж не помню, за что, но меня впервые отстегал ремнём. После похорон, видимо помня об этом, он, хотя и не прямо, извинялся передо мной, посадив на колени, всячески ласкал меня и называл своим петушком. С Александрой же становилось всё хуже: у неё явно «ехала крыша», что со злыми к концу жизни чаще всего и случается. Как-то она то ли притворилась больной, то ли действительно заболела – её отправили на соседнюю станцию Саблино в больницу. Но через день её привезли обратно на санях (дело было зимой) и сильно ругались: дескать, «что вы нам прислали сумасшедшую, она здорова и только безобразит». Однажды, глядя на бабу Сашу, я от удивления выпучил глаза: она

сидела на корточках под столом и лакала из кошачьего блюдечка молоко. Вызвали психиатра, и тот отправил её в психиатрическую больницу, где она вскоре и умерла. Когда наша семья уменьшилась, в ней установились спокойствие и всё больший достаток, тем более что он рос и во всей стране. Вместо старой, мало дававшей молока коровы купили в совхозе молодую, огромную, с быка, корову немецкой породы. Её звали Машкой, и она давала молока аж 25 литров, но слишком жидкого, так что на рынке в Ленинграде, куда мать возила продавать молоко, его, как не соответствующее стандарту, продавать запрещали. Жирность молока должна была быть не меньше 3,2 %, ну а сейчас можно продавать любое снятое, т. е. фальсифицированное молоко, даже полуторапроцентное. Пришлось из этого обилия молока делать творог и сметану, и уж их сбывать, а для замены Машки купили тёлку, которую звали Мартой и которую я растил, кормя и выпасая.

В школу пошёл рано. Отец очень хотел, чтобы я скорее выучился на инженера (звания профессора у него и в мыслях не было), и потому, ссылаясь в дирекции на моё детдомовское прошлое, отправил меня в школу в 6 лет. Так что в школу зимой я ходил, волоча по снегу свой портфельчик. Читать отец меня научил ещё в дошкольное время. Любимыми моими журналами были «Мурзилка» и «Чиж» (они мне даже снились), а сперва их мне читала мать моих приятелей по соседнему дому, обрусевшая немка, выписывавшая эти журналы для своих мальчишек. Я до сих пор помню рассказ «Оранжевое горлышко» из «Чижа» о перепёлке с её цыплятами. Запомнилась и сказка о чудесном горшочке: я её впервые наизусть прочитал публике. Дело в том, что отец моих соседских приятелей Юры и Бориса дядя Федя работал в Ленинграде на хлебопекарном заводе, и однажды в какой-то праздник повёз нас в заводской клуб на концерт. После выступления артистов ведущий попросил находившихся в зале детей со сцены прочитать стихи или рассказать сказку. Я, тогда проявив не свойственную мне позже смелость, поднял руку и, взобравшись на сцену, лихо прочитал сказку о чудесном горшочке, который по тайному заклинанию варил вкусную кашу.

С чтением у меня ещё в дошкольное время было хорошо. А вот правописание в школе хромало, и оценка «хорошо» появилась очень нескоро; да почерк у меня и сейчас неразборчив. Учительницей в первом классе у нас была чопорная и очень строгая дама, одетая по традиции учительниц гимназии во всё чёрное, с зонтом-тростью. Мои одноклассники её не любили, а сосед по парте Колька на её замечания приходил в истерику и орал: «Ведьма, ведьма!» Вместо неё вскоре пришла молодая

учительница, добрая и весёлая. Но запомнилась она только тем, что говорила мне: «Не морщи лоб – скоро состаришься!» Старости я тогда почему-то не боялся, а лоб морщу до сих пор.

Тогда же ко мне пришла первая настоящая любовь: среди всех девчонок класса я влюбился в одну ясноглазую девочку с чёрными косами, которые я уже дёргать не мог. При всей моей забывчивости имён и фамилий её имя и фамилию помню до сих пор: Галя Тарасенко. Что странно, так как моим идеалом красавицы была голубоглазая девушка-блондинка.

Это была почти платоническая любовь. До этого была и не платоническая. Здесь мне приходят на ум слова из песни А. Малинина «Леди Гамильтон»:

И была соседка Клава
Двадцати весёлых лет.
Тётки ахали «шалава!»,
Мужики глядели вслед.

На правах подсобной силы
Мог я глубже заглянуть,
Если Клавдия просила
Застегнуть чего-нибудь.

Моя «соседка Клава», сестра нашей общей подружки Вали, ко мне была более строга и жаловалась моим родителям: «Ваш Мишка, когда я сидела на горке, заглядывал мне за кофточку». Мать только хмурилась, а отец смеялся «Ну, парень! Далеко пойдёт». Я в этом отношении далеко не пошёл и с годами всё больше боялся девушек, хотя ими всегда интересовался. По поводу роста моего «эстетического» образования, по-видимому, сыграли ещё в школьные времена посещения театра, организованные директором нашей начальной школы. Нас бесплатно возили в Ленинград, где в театре Ленсовета мы смотрели сказку «Снежная королева» и «Сказки Пушкина». Моё впечатление было огромным, и я его до сих пор помню как наяву.

Между тем к нам приближалась война: в Испании началась гражданская война, и мы, хотя и в виде добровольцев, в ней участвовали. А мы все тогда бредили Испанией. Вот и отец мой, довольно равнодушный к политике, купил мне синюю пилотку с красной кисточкой впереди. Как-то незаметно прошла весть о смерти Надежды Константиновны Крупской, но взрослые всё же шутили, печаля нас, детей: конфет больше не будет. Дело в том, что одна из крупнейших кондитерских фабрик в Ленинграде была имени Крупской. Конфеты, хоть и не часто, мы продолжали

получать (отец раз в месяц с получки приносил мне кулёк леденцов). Печаль, если бы мы только могли знать, была бы: умерла наша покровительница, настоявшая на законе об уголовном наказании за физическое наказание детей.

Совсем война приблизилась к нам, когда она началась с Финляндией. Хотя она шла рядом, но на нас никак не влияла: цены оставались прежними, и никого из знакомых в армию не мобилизовали. А вот Конечек она затронула: наш деревенский сосед Михаил Шматков был ранен в руку и стал инвалидом. Он тогда лежал в ленинградском госпитале и мать с отцом ездили к нему с подарками. Отец даже предложил госпиталю привезти свинью, но начальство от подарка отказалось: дескать, в этом нет необходимости.

Конец детства. Война

О войне с Германией мы узнали только на следующий день, когда из Ленинграда к нам приехала младшая сестра отца тётя Марфа (у нас ведь не было радио). Известие мы приняли как-то спокойно – видимо, уже привыкли к этому понятию. Но воочию она пришла к нам, когда немцы стали бомбить Колпино. Самолёты летали высоко, и мы видели, как «юнкерсы» пикируют на ещё строившуюся линию обороны, проходившую по реке Ижора. Зато осколки рвавшихся над нами зенитных снарядов падали к нам, и мы, мальчишки, их собирали. А потом война пришла прямо в наш дом: не взорвавшийся зенитный снаряд, срубив на углу нашего дома старую берёзу, пробил стену под иконой, поцарапав её, и лёг прямо на родительскую кровать. Мы и все соседи шумной толпой торжественно отнесли его к пруду и утопили.

Немцы появились неожиданно. Наши отступили за реку Ижору для нас неслышно, боёв не было – ни выстрела. Какие-то странные машины мы увидели в бору, помню – 11 сентября. А потом появились солдаты в форме зелёно-мышиного цвета и занялись ловлей наших кур. Мы, опасаясь начала боёв, ушли в лес, и здесь произошла моя первая трагедия в этой войне: вместе с соседом и родственником Фёдором, мужем приёмной сестры, и временно жившим у нас тоже каким-то родственником Василием отец пошёл из леса домой кормить скотину и исчез навсегда. Его сдал остановившему их на шоссе немецкому патрулю родич Фёдор, заявив, что отец коммунист (он был беспартийным), и жандармы его увели, заведомо на расстрел. Фёдор совершил предательство родича не только из-за обычных мелочных ссор соседей, но потому, что по духу был предателем и коллаборационистом, что обнаружилось быстро. Как портной, он в наступивших холодах шил для немцев меховые перчатки, а его младший сын, баловавшийся рисованием, нарисовал маслом огромный портрет Гитлера. Этот портрет я видел у них на стене.

Для общения с немцами у Фёдора были возможности, поскольку он, как немецкий военнопленный ещё Первой мировой войны, знал немецкий язык. От официальных советских властей он почему-то после войны не пострадал. Но остаток жизни он прожил в постоянном страхе, и этот его страх поддерживали близкие и дальние соседи, постоянно напоминая о его предательстве и грозящем ему наказании. Но и после смерти ему не дали покоя – на его могилу, говорят, кто-то вылил целую бочку ассенизаций. Так что предатель всё равно получил по заслугам. И

здесь ещё неизвестно, что страшнее – постоянное ожидание наказания или «отсидка» и уже успокоение.

Хлеб у нас давно кончился, и я, забыв, что мы в оккупации, пошёл в Пчёлку за покупками, но магазин был открыт и разграблен. На полках стояли только пачки ячменного кофе, и я ушёл ни с чем. Напротив Пчёлки стоял большой деревянный дом, а на его газоне лежала огромная куча книг. Это были книги на французском языке в богатых переплётах (наследие дачников-аристократов). Они меня не заинтересовали, но там же я нашёл толстую книгу на украинском языке под названием «Кобзарь». Я хотя и с трудом, но читал стихи Тараса Шевченко.

А здесь началась для нас настоящая война – Поповку начали из Колпино обстреливать, и снаряды рвались рядом, так что угол кухни нашего дома оказался развороченным, а мать была осколком в ногу ранена. Её увезла санитарная машина, как мы потом узнали, в Иваново, в госпиталь для военнопленных, в котором работали русские врачи. Я остался с семьёй дяди Васи, которая пряталась в нашей землянке в конце огорода. Мы питались лепёшками из отрубей с салом от зарезанной нашей свиньи и горохом, что запас ещё отец.

И здесь пришла моя новая беда – мою любимую Марту, которую я продолжал кормить, увели немцы! Я был не только свидетелем разбоя, но и дрался за неё с двумя немецкими солдатами. Они пришли уже с кожаным поводком и накинули его на шею Марты. Я с криком поводок сбросил. Они пинками вытолкали меня из коровника и повели Марту в сторону шоссе. Я бежал за ними и кричал: «Марта, Марта!» Один из солдат вынул пистолет и направил на меня, и я, испугавшись, спрятался в канаву. Грабители посмеялись и пошли дальше, а я продолжал бежать за ними, крича: «Марта, Марта!» У шоссе, за которым начинался тёмный еловый лес, они попросили тянувшего провод связиста задержать меня. Тот бегал с раскинутыми руками, пытаясь меня поймать, но я шоссе всё же перебежал, однако в лесу грабителей потерял и бегал по нему, по-прежнему зовя Марту. На поляне стояли машины, а у костра сидели солдаты и смеялись надо мной. Но моим грабителям и этим смешливым солдатам их смех обошёлся дорого – они наверняка все были убиты. После войны, вернувшись в Поповку, я увидел, что этого леса, где я когда-то собирал грибы и где прятались грабители-оккупанты, – нет. Он был сметён и перемешан с землёй нашей артиллерией – она отомстила и за отца, и за мою Марту.

С наступлением холодов в землянке стало жить трудно, и я оказался в домике тёти Маши, старшей сестры отца и её мужа дяди Филиппа, до войны работавшим плотником в совхозе, но в

начале войны демобилизованным. Ушёл в армию и дядя Вася, муж их старшей дочери Ани, «назначенной» мне крёстной. Моими родственниками и друзьями были младший сын тёти Маши Анатолий и сын Ани Юра. С Анатолием мы нередко дрались, а победителем всегда был я, видимо потому, что был старше его на два года. С Аней мы ходили навещать мать в Иваново, шли по шпалам железной дороги, идущей от Поповки в сторону Иваново. Дорога мне запомнилась только тем, что в её конце на высоком железнодорожном мосту через реку Ижору стоял брошенный паровоз с большими красными колёсами.

Тётя Маша кормила нас лепёшками из отрубей и картошкой. Обитавший в соседнем доме черноволосый немецкий солдат, которого все звали цыганом, увидев, чем хозяйка толчёт картошку, пришёл в ужас: она толкла её… немецкой гранатой с длинной деревянной ручкой, так и названной – толкушка. Тётя Маша позже опять отличилась и опять с тем же «цыганом»: уже после выпадения снега тот решил присвоить стоявшие во дворе мои финские сани и уже катил их по улице. Но тётя Маша догнала его, отобрала сани и даже немца побила – тот не мог справиться с «бешеной бабой».

События в прифронтовой полосе

Война разгоралась, и мы уже действительно жили во фронтовой полосе. И здесь произошло несколько запоминающихся событий. Самим ярким для меня был подвиг нашего лётчика. Дело в том, что немцы у шоссе, прямо напротив уже полуразрушенного совхоза, вывесили воздушный шар с корзиной, в которой находился их корректировщик артиллерийского огня. Конечно, это не могло понравиться нашему командованию, и для уничтожения шара был направлен истребитель. Это был И–16, «ишачок», как его ласково у нас звали. Однако шар охраняли «мессеры», которые напали на тихоходный И–16, и он загорелся. Но лётчик горящий самолёт не бросил, а направил его на шар. Шар загорелся и рухнул на землю, накрыв и корзину с наблюдателем. Я всё это видел и был потрясён гибелью нашего лётчика.

Другим событием подобного рода была гибель нашего разведчика и смерть мне хорошо знакомых детей. После прихода немцев нашу осквернённую церковь вновь открыли, без решения московского Синода, конечно. И тут я узнал о трагедии семьи священника и дьякона. Сын дьякона оказался нашим разведчиком и церковный крест использовал как антенну для своего передатчика. Немцы передатчик засекли, и жандармы ворвались в дом священника и дом дьякона. Священника они дома не застали (говорят, что он с любовницей ушёл куда-то за солью). А вот сына дьякона они застали с приёмником. Тот отстреливался, но его всё же скрутили, а потом повесили. Я видел его труп с надписью на груди: «Он стрелял в немецких солдат». Но меня не менее потрясла гибель мне знакомых дочерей попа и его попадьи от рук озверевших карателей. Их могилы я видел уже после войны. Церковь закрыли, и попа никто больше не встречал.

Запомнилось тоже шумное происшествие, произошедшее среди ночи. Мы вдруг услышали в ночи страшный женский крик, и, решив, что это у наших соседей, обрусевших финнов, все побежали к ним. Но крик шёл из другого дома и неожиданно смолк. Но тут к нам в дом стали стучаться немецкие солдаты. Женщины от страха страшно вопили, а хозяйка дома кричала, не открывая дверь: «Мы не русские, мы финны!» Солдаты ещё постояли и ушли. А утром мы узнали, что это был ночной немецкий патруль. Они тоже искали, откуда шёл крик и по какой причине. Оказывается, солдаты-мародёры пытались увести из коровника в соседнем доме корову, но хозяйка не только её охраняла, а ещё и приковала к стене цепью. Женщину, жутко

кричащую, мародёры убили. Говорили, что их нашли, а уже существовавший комендант Поповки велел их расстрелять. Так ли это было, мы не знали, хотя расстрел мародёров был вполне вероятен. Немцы не были заинтересованы в разложении своей армии: одно дело – реквизиция по приказу, а другое – мародёрский грабёж, да ещё среди ночи.

Наш зимний переезд в родной Конечек

Мать вернулась из госпиталя с ещё не зажившей ногой и лечила её своим способом, в том числе просила меня на рану пописать. Как-то, хромая, она шла по улице, и около неё остановилась санитарная машина. Из машины вышел военный врач и попросил показать рану. Осмотрев её, он принёс какие-то мази, смазал рану, забинтовав чистым бинтом и дав тюбик этой мази матери для дальнейшего лечения. Для нас это было удивительно, хотя позже я убедился, что немец немцу тоже рознь. Да вот однажды, когда я на тяжёлой тачке вёз из леса собранные дрова и с тачкой застрял в придорожной канаве, около меня остановился мотоцикл с двумя немецкими солдатами. Один из них, сойдя с мотоцикла, перекатил через дорогу тачку, потом поднял меня на руки и поцеловал. Парадокс: один оккупант, уводя мою дорогую Марту, готов был меня пристрелить, а другой солдат мне помог в трудной ситуации и даже поцеловал.

В дальнейшем мать проявила большую сноровку и организаторские способности, не меньшие, чем у Ивана Петровича. Она выменяла за мешки отрубей и гороха, запасённые отцом, довольно сильного коня армейской стати, (мы его видели в лесу, брошенным солдатами), с санями и сбруей (зима уже была суровой), и назвала по старой памяти его Борисом. А также помогла приобрести лошадь с санями тёте Маше и Ане. Из каких-то старых мехов, в том числе и из своей лисы, она сшила мне шубу с матерчатым верхом, и мы отправились в родную Псковщину. Жить во фронтовой полосе становилось всё опаснее: снаряды днём и ночью свистели над домом и где-то рядом рвались. Мать на сани загрузила всё сохранившееся добро, даже шкаф, уж не говоря о велосипедах и финских санях.

Я сидел на высоком возу вместе с теперь уже нашей собачкой по кличке Деска. Мать нашла на улице брошенную дрожащую болонку белого цвета и пригрела её, она стала нашей спутницей. Из-за неё у нас произошло несколько смешное, но опасное происшествие. Когда мы спускались к мосту через реку Славянку, с моста нам навстречу ехал на коне какой-то немец. Когда он поравнялся с нашим возом, наша храбрая Деска громко гавкнула на коня, и тот взвился на дыбы, сбросив своего всадника в сугроб. Немец, видимо матерясь по-своему, с трудом выбрался из сугроба, весь в снегу, похожий на снеговика, только без морковки вместо носа. Он потрясал перед нами карабином и кричал, прямо-таки трясясь от злости. Едва поймав убежавшего коня, бравый кавалерист ускакал дальше. Сперва тоже испугавшиеся, мы

начали смеяться.

Через день выехали на псковско-ленинградское шоссе, но ехать по нему было трудно на санях, потому что обледеневшее шоссе было посыпано песком. Вскоре сани остановились, и мои женщины горестно завыли: на снегу у шоссе мы увидели в одном нижнем белье нашего мёртвого солдата, военнопленного конечно. Поплакав, мы поехали дальше и в посёлке Вырица у кого-то остановились на ночь. У них, как лишний груз, мы оставили шкаф, и хозяева обещали его после войны вернуть. Нам посоветовали свернуть с шоссе, на котором трудно найти еду для лошадей, и ехать просёлочными дорогами, что мы и сделали. Здесь я впервые увидел российскую глубинку зимой: заснеженные поля, деревеньки с тёмными избами по берегам небольших речушек с крутыми берегами и везде огромные сугробы на фоне тёмных еловых и берёзовых лесков и светлых сосновых боров. Тогда, при нашем плутании по малопроезжим просёлочным дорогом, мне пришлось, за неимением хлеба, с трёшкой в руках просить в деревнях продать кусок хлеба. То есть попросту побираться. Один из хозяев, видимо, большой юморист, съязвил мне: «Ты вот побираешься, а сам в дорогой меховой шубе».

Первой большой нашей остановкой была Уторгош. Задержка объяснялась заболеванием лошади наших родичей опасной болезнью – сапом. Серую лошадку в яблоках пришлось прирезать, и я впервые, уже в Конечке, куда мы, наконец, приехали к концу года, как татарин, ел конину, и она мне тогда понравилась. Мы с матерью остановились в когда-то бывшем нашем доме у родственников, а наши родичи-спутники – в пустующем доме своей деревни Калиновка. Наш конь по какому-то соглашению оказался у них – видимо, там его было где держать. Нас встретили хорошо, тем более что мы не были нахлебниками: благодаря запасливому отцу и распорядительной матери у нас был запас отрубей, гороха, солёной свинины и даже конина. Мать сама пекла хлеб в знакомой ей русской печи. Как прошли новогодние праздники, не помню, а вот масленица, как весёлый русский праздник, для меня оказался впечатляющим. С каждой избы полагался большой сноп соломы или хвороста, и потому на большом лугу к вечеру зажигались костры, вокруг которых плясали или прыгали через них и чудили ряженые, кто во что горазд – под медведя, волка, лису, а то и чёрта. И так почти до утра.

Нам, так же как и всем, выделили полоски пахотной земли, и весной мать, пригнав от родичей коня, стала их пахать. Пробовал делать это и я, но силёнок не хватило, зато боронование вспаханной земли было моим делом. Сеяла рожь, горох и даже

пшеницу сама мать. Зато осенью мы были со своим хлебом, хотя и здесь пришлось потрудиться: молотить было даже более тяжёлым делом, чем бороньба. Вернулась дочь раскулаченного соседа Надя, но она разумно не стала требовать возврата своего дома, где давно жила большая семья. Они с моей матерью быстро обустроили под жильё стоявший в конце нашей улочки, напротив избы дяди Миши Шматкова, пустовавший их когда-то каменный амбар. Дальше за амбаром шла малоезженая дорога вдоль влажного луга, где зимой и буйствовала весёлая масленица, а летом гнездились чибисы, гнездовья которых я сделал своим птичником, собирая их довольно крупные пёстрые яйца. Делалось это так, чтобы птицы гнёзда не бросали, и потому в гнезде всегда оставлялись одно-два яйца.

Другим моим занятием в свободное от сельхозработ время было собирание ягод и продажа их в Пскове на рынке. Сперва появлялась земляника, которую я собирал в Плитищах и которой там было много. Туда никто не ходил – в деревне существовала легенда, что Плитищи кишат змеями. Их я почему-то не видел, да и не очень-то их боялся, если встречал, а просто убивал, памятуя другую, уже церковную легенду, что за убийство змеи снимаются твоих сорок грехов. Позже появлялась в болотистых Ямищах синика, которую я собирал вёдрами и носил сдавать на приёмном пункте в Пскове: здесь за ведро ягод давали килограмм соли, что тогда было дороже всяких денег. Когда не было ягод, мной на лугу собирались цветы, вязались букеты и опять же продавались в Пскове. Это, в основном, были ромашки, от которых пестрел луг. На вырученные деньги я покупал «для дома, для семьи» белый хлеб, немного сахара, подсолнечное масло и масло лампадное для ставшей очень верующей матери (раньше я за ней этого не замечал). Ну и, конечно, мне «откалывались» конфетки. Разумеется, всё это не очень много – цены-то были запредельными.

И ещё я зарабатывал тем, что у нашего дяди Васи, который тоже обосновался с женой и двумя девочками-двойняшками в Конечке и был пастухом деревенского стада, бывал по просьбе соседей подпаском. Василий научил меня плести из прутьев ивняка красивые плётки и корзины. Нашим способом самообеспечения было и то, что зимой мать ходила по льду Псковского озера в соседнюю Эстонию менять женское и постельное бельё на муку и ту же соль. Бартерная её торговля была успешной. Может быть и потому, что там её принимали за свою: в лице ее, да и характере проглядывала четвертинка чухонской крови.

Школа и закон божий

Осенью я пошёл в школу, теперь уже оккупационную и под началом коллаборационистов, в четвёртый класс и, как оказалось, при данном режиме – последний. Всё по представлению Гитлера и Гиммлера: для покорённых народов Востока не должно быть никаких школ, только начальные. Кроме чистописания, русского и немецкого языка, русской литературы, где упоминались стихи русских поэтов лишь религиозного характера, например «Молитва» Лермонтова, арифметики и закона божьего, других предметов не существовало. Были две молоденькие, ещё советские учительницы. Учительница по литературе мне и приносила ещё советские книги. Тогда я впервые прочитал «Поднятую целину» Шолохова. Закон божий нам преподавал настоятель нашей церкви. Как я теперь понимаю, он был атеист и закон божий преподавал формально, лишь зачитывая «тезисы» из Библии, без объяснений и комментариев. В беседах с ним мы обсуждали житейские, далёкие от религии вопросы и мои стихи. Не помню, о чём они были, но помню одно его замечание, которое я позже старался учитывать, – не повторять часто в начале стихотворной строки букву «и», чем грешат даже классики. Как я слышал, он после войны стал епископом.

Наша школа находилась рядом с церковью в селе Богдановское. Младшая дочь хозяйки школьного «здания» (видимо, бывшая уборщица школы, проживавшая в ней, – поистине, «кто был никем, тот станет всем») училась в нашем классе. Она старалась быть моей подругой, но мне полюбилась её старшая сестра, а та не обращала на меня внимания. Весной 1943 года я закончил четвёртый класс, и на этом моё образование при немцах прекратилось, хотя мне и выписали почётную грамоту. Не будучи очень религиозным, в церковь по наущению матери я всё же ходил, чаще, однако, по… просьбе соседей нашей деревни: они облюбовали меня в качестве крёстного отца их младенцев.

Уже позже, изучая русскую историю, я удивлялся, зачем царская чета Николая Второго пригласила аж из Сибири «старца» Распутина, способного останавливать кровь их сыну, страдавшего гемофилией, если рядом жили умевшие это делать ведуньи. Одной из них была наша родственница тётя Устинья, по-деревенски Устиха: она не только умела останавливать кровь (что не раз делала мне), но и сводила с наших рук бородавки, снимала у младенцев «ночницу» и многое другое. Но главное – умела варить вересковый мёд, чудесный напиток, который попробовал и я. Уже позже мне стало ясно, что Устинья была наследницей

кельтских ведуний, сохранившей их секрет варить этот мёд, секрет, который считался утраченным (ведь подлинные псковичи были потомками лютичей – ославянившимися кельтами). Да шотландский поэт Стивенсон в поэме «Вересковый мёд» так и писал:

Из вереска напиток
Забыт давным-давно,
А был он слаще мёда,
Пьянее чем вино.

Любимым моим путешествием было наше с матерью хождение в гости к её двоюродной сестре тёте Кате в деревню Дубки, что располагалась на небольшой возвышенности за Цаплино. Мы шли через поля и мимо остающегося справа огромного болота, где конецкие добывали для топлива в трясине пни и корни когда-то росших здесь деревьев. Этим занимался и я. Далее нас встречали любимые мной мачтовые сосны Зуёвской горки, под которыми мы отдыхали и шли дальше. Мимо Зуев и Мыса через насыпь Гдовской железной дороги с остатками гнилых шпал по заросшей дороге, где когда-то нам пришлось в Цаплино вести гроб дедушки Фёдора. Здесь однажды на просёлочной дороге около Зуёв мы встретили мать Василия с его дочерью, девочкой моего возраста. Несостоявшая свекровь сетовала, что судьба не свела вместе Василия и её, Ольгу. И предлагала восстановить справедливость, поженив меня с её внучкой. Посмеялись и разошлись уже навсегда.

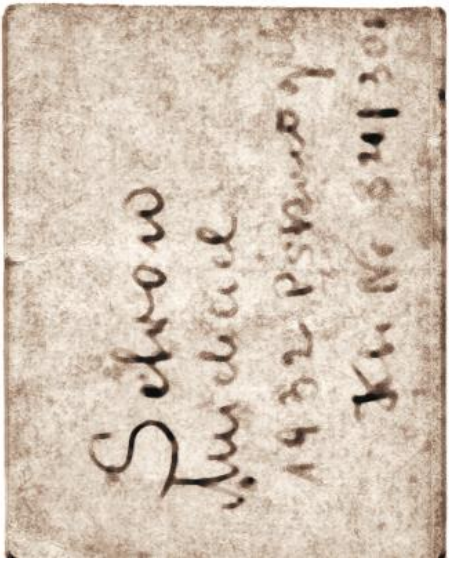
У тёти Кати в войну жил мой сверстник Володя Гуркин, сын её двоюродного брата Матвея (дяди Моти) и его жены, тоже Кати, у которых мы бывали в гостях в Ленинграде. Каждое лето Володя проводил в Дубках, но на этот раз он не вернулся домой ввиду неожиданного прихода немцев и блокады Ленинграда. Так что в Дубках собралась дружная компания мальчишек: старший сын тети Кати Ивановой и её сын младший – Генка, ну и я. Увы, после войны живыми остались только я и Геннадий: Володя Гуркин умер первым, упав с высокого дерева, а Володя Иванов погиб после войны по шалости от взрыва брошенного в костёр снаряда. Тогда такого рода трагедии происходили часто, поскольку в поле валялось много опасных средств войны. Вот и мой крестник Саша Сетров, сын моего дальнего родственника и полного тёзки Михаила Сетрова, подорвавшись на мине, потерял ногу и вскоре умер.

Опять фронт и ещё немецкий лагерь

Но к нам приближался фронт, всё тот же Ленинградский. Началось всё с того, что стали появляться партизаны и это коснулось нашей семьи. Ольга Фёдоровна партизанкой не стала, но она спасла от лагеря и расстрела свою племянницу (и мою «крёстную») Аню. Идя из Пскова, она встретила на дороге подводу, в которой их деревенский знакомый с повязкой полицая и карабином вёз в Псков Аню сдавать как партизанку. Мать, поняв, в чём дело, и взяв под уздцы лошадь, остановила сани и выхватила у предателя карабин, стала угрожать ему расстрелом партизанами. Тот струсил и стал оправдываться: «Мне приказали, вот и везу». Мать: «Скажи, что сбежала, стрелял – не попал». Тот повернул лошадь и поехал назад, а мать с Аней пошли в Конечек, и в свою Калиновку она уже не вернулась. Потом в Конечек пришла и тётя Маша с мальчишками. Они остались жить у нас, а нашего коня забрали партизаны.

Фронт совсем приблизился к нам, когда в нашей и соседней деревне Богдановщине обосновался литовский строительный «легион» для строительства части немецкого «Восточного вала». Мы оказались на его передовой линии – противотанковый ров проходил сразу за нашей деревней, а доты стали возникать на наших огородах и между избами. С Толькой мы уже не дрались, жили дружно и готовились уйти к партизанам. Для этого мой «друг и соратник» в качестве оружия украл на полевой кухне, дымившей у пожарки, большой кухонный нож, и мы его спрятали в соломе крыши. Эта его склонность и способность украсть приведёт после войны к тому, что он в Ленинграде станет вором в законе.

После прорыва блокады и отступления немцев, они стали выжигать деревни и взрывать каменные постройки восточной части Псковщины, в том числе и церкви. Так что и престольная цаплинская церковь оказалась взорванной, могила моего друга Володи засыпана её обломками, а деревня Дубки тоже сожжена. За нашей деревней справа и слева всё было покрыто дымом и гремели взрывы, полыхали дома. Это было похоже на Апокалипсис, о котором нам рассказывал учитель закона божьего. Перед уходом строители отстреляли всех собак. Была убита и оказавшаяся случайно на улице моя дорогая Деска. А нашу корову, которую мать ещё раньше успела обменять на отцовскую одежду, немцы забрали, даже выдав справку об этом. После всего этого нас всех собрали в толпу и под дулами автоматов повели в Псков.



Фотография в лагере под Бранденбургом

Ольга Фёдоровна в пересыльном пункте лагеря, 1943 г.

На псковском шоссе мы с матерью и тётей Надей оказались в огромной колонне угоняемых жителей. Когда колонна уже приближалась к реке Великой, над ней появились советские истребители. Люди увидели красные звёзды. Что с ними сталось! Конвоиры со своими автоматами попрятались в канавы, а колонна прямо-таки взорвалась, превратившись в огромную клокочущую толпу. Мальчишки и старики просто бесновались: прыгали, кричали, бросали шапки вверх, а женщины срывали платки и махали ими. Над толпой эхом гремело «Наши, наши, наши!». Пролетевшие было самолёты вернулись и, снизившись, покачивая крыльями, приветствовали своих сограждан. Это был клич своих к пленённому народу: «Держитесь, мы идём!»

В избах большой деревни Дворец, что на берегу Великой, мы заночевали, а утром нас по льду реки погнали в Псков. Недалеко от города немцами был построен стратегически важный для них

мост, по которому они гнали военную технику к линии обороны. Когда колонна оказалась под мостом, её остановили – чего-то ждали. И действительно, вскоре над мостом появились наши бомбардировщики. Мост, на что рассчитывали немцы, они бомбить не стали, видимо обнаружив, что под ним свои люди. А бомбы сбросили на скопившиеся у моста машины и стрелявшие по ним зенитки. Мы, находясь в конце колонны, видели, как от взрыва бомб в воздух взлетали немецкие каски, колёса и стволы зенитных пулемётов. Бомбардировщики улетели, и колонну двинули дальше. Приближаясь к городу, мы слышали страшный скрежет: оказывается, это экономные немцы железные крыши городских домов превращали в металлолом для своих металлургических заводов.

Нас привели на товарную станцию и загнали в какой-то большой ангар, вповалку на бетонном полу. Потом, правда, нам выдали по куску консервированного хлеба в фольге и принесли кипяток. Утром нас погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию. Проезжали город, где как ни в чём не бывало на улице ходили пешеходы и трамваи. Сказали, что это Рига. Скоро в полях исчез снег, становилось всё теплее – ехали-то на юг. Кажется, в Брест-Литовске мы были помыты, а наша одежда «прожарена». На всё это я смотрел с любопытством и, в общем-то, без страха – видимо, сказывалось дававшее себя знать ещё не прошедшее детство. Под Бранденбургом, что в сорока километрах от Берлина, нас рассортировали по размеру семьи, взрослых сфотографировали с номерной биркой на груди. Эта фотография матери у меня хранится до сих пор. Потом нас привезли в лагерь, обнесённый колючей проволокой и находившийся на краю аэродрома авиационного завода. От завода нас отделял лагерь французских военнопленных, а от города – домики с палисадником так называемых фольксдойчей, т. е. «нечистых» немцев. Проходившая по середине лагеря дорога была продолжением улицы города, в конце которой находились огромные солдатские казармы. Мы оставались в собственной одежде, но на рукав велено было пришпилить бирку со старороссийским (и нынешним) триколором. В день нам выдавали литр баланды (брюква в воде, заправленной мукой) и 300 граммов хлеба. Правда, в воскресенье выдавались три картофелины с куском солёного огурца, тонкий ломтик конской колбасы и кусочек сахара. Размер «пайка» для взрослых и детей был одинаковым. Мать и тётя Надя стали работать на заводе вместе с французами-военнопленными. У матери появился ухажёр – француз Гастон. Вскоре нас, мальчишек, собрали, повели в город, сфотографировали для пропуска-аусвайса на

завод, где мы стали работать в огромном пустом цехе под руководством толстого старика немца. Мы чистили заржавевший инструмент и складывали в новые ящики. Мы буквально издевались над мелочностью и жадностью старика. На стоявшую в конторке чугунную печку мы бросали пфенниги, они плавились, но форму сохраняли. Увидев монеты, немец хватал их – те брызгами разлетались по печке, а дед ругался, тряс обожжёнными пальцами и гонялся по цеху за нами с проводом. Нудная работа нам быстро надоела, и мы стали хитрить – в ящик складывали ржавый инструмент, а сверху клали чищеный. Наша проделка вскоре обнаружилась, и нас пинками выгнали с завода, отобрав пропуска. На этом наша трудовая деятельность в пользу великого Рейха и закончилась.

Освободившись, таким образом, от трудовой повинности, я часто уходил в город и его окрестности. У меня там появились знакомые мальчишки. Зная это, парни, работавшие на заводе механических игрушек, иногда просили меня принесённые ими игрушки поменять где-нибудь на табак. Такой обмен на табак случался редко, но мои знакомства росли, видимо потому, что подобных игрушек немецкие мальчишки никогда не видели: немцы продавали их в Швецию. Помню случай, когда мы с одним мальчишкой с увлечением прямо на асфальте гоняли большой стреляющий танк. Он повёл меня домой, где его мать накормила меня супом, а мальчик принёс оставшиеся ещё от отца сигареты. Его отец был танкистом, и он сообщал ему в письме, что у русских хорошие танки, чем я и возгордился.

Вообще отношение к нам немцев стало явно меняться с приближением Красной Армии к границам Германии. Помню случай: когда я копался в мусорном ящике, ища съестное, к другому ряду ящиков подошла немка и, положив на ящик пакет, показала мне на него. В пакете оказались бутерброды. С найденными мной хлебными карточками я пошёл в булочную и, отстояв очередь, предъявил их продавщице: та посмотрела на карточки, на меня и, бросив их в ведро, дала мне несколько стограммовых булочек. Расплатившись марками, я быстро ушёл, не дожидаясь сдачи. Но за мной бежала немка и кричала: «Мальчик, мальчик, возьми сдачу!» Обрадованный таким богатством, я махнул рукой и убежал, да и немецкие пфенниги для меня ничего не значили. К концу сорок четвёртого года я совсем осмелел и стал уходить далеко в сторону Берлина, однажды даже сел в пригородный поезд Бранденбург – Берлин, но на ближайшей станции, как безбилетника, меня высадили, и обратно я шёл по шоссе пешком. В одном большом селе меня остановили мальчишки, и один из них, узнав во мне русского,

заговорил со мной по-русски, чему я был удивлён. Но тот объяснил, что он русский, потомок бывших эмигрантов, а его мать, учительница, преподаёт в школе русский язык. Он повёл меня домой и угостил бутербродами (хлеб с маргарином), а потом мальчишки из большой лежавшей во дворе дома кучи картошки нагрузили мой мешок и на шоссе остановили военную машину, попросив солдата отвезти меня в Бранденбург. Тот спросил меня, почём картошка; я назвал случайную цену, и он был удивлён дороговизной.

С картошкой в другой раз у меня вышло хуже. Соседка по бараку, разбитная псковитянка Аня, которую так и звали – Аня-кошечка, работала у хозяина большого имения, находившегося в конце аэродрома с высоким металлическим забором. Она как-то попросила мать ей помочь в воскресенье, а меня к концу дня подойти к калитке. Что я и сделал потом. Они с матерью нагрузили меня небольшим мешком картошки. Но когда я уже хотел перейти дорогу, на ней показался на велосипеде полицейский: он увидел меня с мешком и приказал подойти к нему. Но я пошёл обратно в сторону реки, и тот погнался за мной, я стал убегать, и тогда этот страж правопорядка вынул пистолет и прицелился в меня, крича: «Хенде хох!» Оглянувшись, я понял, что этот дурак не шутит и может выстрелить. Я остановился, но рук не поднял, а, бросив мешок, повернулся к нему спиной. Он подошёл и стал допрашивать меня, где я взял картошку. Я ему врал, что я купил её в дачном домике у реки. Он повёл меня туда, но все хозяйки отрицали причастность ко мне. Полицейский повёл меня обратно, а у забора стояла Аня с моей матерью. Страж спросил, показывая на них, – они? Я отрицал, и он, забрав мешок, меня отпустил, видимо поняв, откуда картошка. Вечером мать вернулась с картошкой. Оказывается, полицейский показал её хозяину, и Аня призналась, что это она дала отобранную для свиней мелкую картошку Ольге в качестве платы за работу. Хозяин «смилостивился» и отдал картошку матери.

Другим запоминающимся событием того времени была наша война с немецкими «гитлерюнге», которые подходили к проволоке лагеря, бросали в нас бутылки с гашеной известью и камни, вызывая нас на драку. Всё это наблюдали появившиеся к тому времени, когда уже Рим капитулировал, итальянские военнопленные в соседнем, вновь построенном лагере. Мы не стерпели и, выбравшись за проволоку, погнали обидчиков камнями к городу. Итальянцы нас подбадривал криками: «Русс аванти!» (Русские вперёд!), «Вива русс!» (Да здравствуют русские!) Но тут произошло то, что нам обернулось карой: я камнем разбил одному мальчишке в форме гитлерюгенда очки

и повредил глаз. Он оказался сыном какого-то эсесовца, и вскоре в лагерь явился жандарм, требуя нас наказать. Собрали мальчишек и устроили им экзекуцию в виде порки. А я как раз этого избежал, спрятавшись под барак.

А итальянцев ещё раньше я поддержал в пику немцам. Меня на улице остановили двое мальчишек, предложив мне разрешить их спор: мальчик-итальянец настаивал, что самое лучшее – это макароны, а немецкий утверждал, что лучше всего картошка. Вкус макарон я уже не помнил и любил картошку. Но я слукавил и из солидарности с итальянцем заявил, что всё же лучше макароны.

Конец войны. Наш путь домой

Наша армия перешла границу Германии, и война приближалась к концу. Это для нас обнаружилось и в том, что из лагеря навстречу ей убежали многие парни. А когда Красная Армия окружила Берлин, и он был на грани падения, нас разбомбили «союзники», уже откровенно превращавшиеся во врагов. В ясный солнечный день 1 мая прозвучала воздушная тревога, и на западе стал нарастать гул движущейся на нас воздушной армады. Это надвигалась тёмная туча американских «летающих крепостей». Вскоре на западе она закрыла всё небо. Её гул был столь угрожающим, что все побежали в бомбоубежище. Туда же побежали мои товарищи по играм и войне с гитлерюгендом, а также и наша соседка по койкам, псковитянка, весёлая тётя Таля в своём синем рабочем комбинезоне. Пыталась бежать за ней и моя мать. Но у меня проснулось интуитивное чувство опасности этого места, места в лагере. И я кричал матери: «Здесь нельзя! Бежим!» И, схватив её за руку, буквально потащил за проволоку к реке. За нами бежали и другие люди. Когда мы уже приближались к сосновому леску у реки, на лагерь и завод начали падать бомбы. Они падали и на дорогу, как бы преследуя бегущих. Последняя бомба упала в пятидесяти метрах от нас, бросив воздушной волной на землю, поранив и убив некоторых осколками. Мы с матерью были оглушены, но не поранены. Бомбы ещё долго падали на город и заводы, а один подбитый бомбардировщик, накренившись, с рёвом кружил над дымящимся от пожаров городом, а после того, как из него выпрыгнули с парашютами лётчики, – рухнул на дома.

Мы ещё долго сидели в леске, а потом пошли в лагерь и увидели, что натворили воздушные бандиты-«союзники». На зелёном поле аэродрома недалеко от обрушенного бомбоубежища лежало множество трупов погибших под его развалинами наших товарищей по плену. Там же я увидел нашу дорогую соседку по бараку смешливую тётю Талю: она лежала мёртвая в своём синем комбинезоне, с откинутой в сторону сломанной ногой. Не меньше меня потрясло и то, что, как я узнал позже, бомба упала в самый вход убежища, где сидели обычно мои товарищи, и их больше нет, нет даже их трупов. Ещё дымились разбомблённые бараки, но наш барак уцелел.

Забрав свой нехитрый скарб, мы с другими уцелевшими знакомыми, в том числе с нашей тетей Надей, ушли из лагеря в лес к реке, где и заночевали под соснами. Мы были голодными, но нас немного подкормили мужчины испечённой на костре

рыбой, которую они выловили, оглушённую, у берега реки. Здесь я впервые испробовал жареного угря. Утром мы двинулись дальше по берегу реки Хафель и вскоре вышли к шоссе, по которому двигались наши военные автомашины.

Вдоль придорожной канавы наш солдат в ватнике тянул телефонный провод. Женщины кинулись на беднягу и чуть не задушили в объятиях. Он отбрыкивался: «Бабы, бабы, уймитесь! Мне же связь нужно срочно установить» (видимо, такие встречи ему были не впервой). Меня радовало и удивляло, как тётя Надя, убежавшая в убежище, спаслась. И здесь я обнаружил ещё один удивлявший меня парадокс: наши американские друзья её пытались уничтожить, а враги – присланные немецкие сапёры – её откопали под обломками и тем самым спасли. Враги спасли от «друзей»!

Вскоре мы оказались в немецком посёлке, на каждом доме которого висел белый флаг. Многие из них были брошены, и в их хлевах визжали и хрюкали голодные свиньи, мычали коровы. Мы остановились в одном из брошенных домов, и к нам вскоре пришли находившиеся в посёлке наши солдаты с офицерами. Офицеры остались у нас на весь вечер, а солдаты принесли в большом обилии продукты – свинину, хлеб, сахар. Офицеры, чтобы отметить наше освобождение, достали бутылку водки, и встреча прошла в долгих разговорах, расспросах и веселии. Мы стали потихоньку обживаться, тем более что солдаты и офицеры несли нам не только продукты, но и носильные вещи, постельное бельё и посуду из брошенных домов. А я вскоре даже стал служить в Красной Армии: ведь я уже владел немного немецким языком и в качестве переводчика стал сопровождать патрули, которые в основном искали в домах оружие. Мне запомнился один смешной случай, когда мы обследовали дом ближайшей железнодорожной станции (похоже, начальника станции). Хозяева упорно отказывались открыть один шкаф, а мы, подозревая, что там они прячут что-то важное, требовали открыть. Наконец они открыли посудный шкаф, и мы засмеялись – там они прятали (вероятно, от нас)… пирожные. Солдаты вытащили из подвала красивый полуаккордеон и предложили мне его взять. Хозяйский сын заревел: «Это мой инструмент!» И я отказался: «Да я и не умею на нём играть». – «Ничего, научишься, – говорили солдаты. – Мало они у вас отняли!» Но я его так и не взял.

А вскоре мы собрались домой. Солдаты нашли где-то двухколёсную арбу, запрягли в неё брошенную хозяевами корову, и мы, погрузив на неё свои пополнившиеся вещи и нанесённые солдатами продуты, отправились «восвояси». Уж очень нам хотелось скорее попасть домой, на родину. Берлин уже пал, но

война продолжалась. Это мы поняли, когда, двигаясь за своей коровьей колымагой по бетонному шоссе, увидели, что на окраине леса, близко подходившего к шоссе, недавно шёл бой: на опушке лежали ещё не убранные трупы немецких солдат. Но война кончалась, и однажды вдруг началась стрельба: стреляли не только зенитки, но и солдаты на шоссе. Мы испугались. Но вдруг услышали крик стрелявших вверх солдат: «Победа! Мир!» Вот и пришла великая радость!

Корова, однако, обезножила, сбив на бетонке копыта, и наша повозка оказалась без «двигателя». Пришлось корову отдать солдатам, а те помогли нам добраться до ближайшей железнодорожной станции. Там стояли эшелоны товарных вагонов, но вагоны все были закрыты, и нам пришлось, сделав настил, погрузить вещи прямо на сцепку, а самим расположиться на открытых вагонных площадках.

Так мы ехали до польской границы. Переезжая через Одер, я видел на его берегу полностью разрушенный город Франкфурт-на-Одере – ни одного целого здания, только торчали обломки стен. Как я потом узнал, это постарались всё те же наши «союзники» – чтобы мы подавились обломками. На границе с Польшей нас всё же пересадили в вагон, и так мы доехали до Брест-Литовска – нашей границы. Здесь скопилось много таких же «беженцев», и нас всех посадили уже в пассажирские вагоны, и, наконец, мы оказались где-то под Ленинградом, кажется на станции Тосно, совсем рядом с дорогой нашей Поповкой. Некоторое время мы приютились в домике на берегу реки Тосно, а потом почему-то в отдельном доме на станции Горелово под Ленинградом. Помню, что здесь мы завели свой огород с капустой и картошкой.

А потом я стал жить в квартире тёти Марфы, её мужа дяди Семёна и их дочери, моей одногодки Гали, которая бывала у нас в Поповке, и мы тогда даже спали вместе. Мне выдали детскую карточку, и я «столовался» вместе с хозяевами, только положенную по карточке стограммовую плюшку я покупал сам и сам съедал. Мать устроилась дворником в Ленинграде в доме 30 по улице Декабристов, при домохозяйстве, состоявшим из двух домов – 28 и 30, а управдомом был бывший сержант Пётр Радивагин, тоже пскович из соседней с Конечком деревни. Вскоре дворником того же домохозяйства стали и тётя Маша с сыном Анатолием, моим двоюродным братом и ближайшим другом, тоже недавно вернувшиеся из плена. И мы стали жить в одной дворницкой квартире. В общем, псковичи нашли друг друга и стали друг другу помогать. В семье тёти Маши был свой почти «исторический» парадокс. Они, оказывается, были недалеко от

нас, в лагере прямо где-то под Берлином. А парадокс, и довольно знаменательный, был в том, что муж тёти Маши Филипп Евдокимов, будучи солдатом одной из армий Жукова, фактически шёл освобождать свою семью, о чём он даже и не знал. Он участвовал во взятии Берлина и там погиб, его имя и фамилия есть и на монументе Победы.

Юность

Школа и верные друзья

Я долго ещё жил у тёти Марфы и здесь осенью поступил в ближайшую школу на проспекте Стачек в пятый класс. Потом мать забрала меня к себе в дворницкую, и я был вынужден ездить каждый день на автобусе в школу на проспект Стачек. И даже помню номер этого автобуса – 2. Он проходил через весь город от Кировского завода до Финляндского вокзала. Этот, один из первых в Ленинграде, раритетный маршрут, кажется, существует до сих пор. А запомнился он мне не случайно, поскольку постоянная езда на нём могла для меня кончиться очень печально. Однажды я, как отучившийся школьник, ожидая свою «двойку», побежал за далеко прокатившимся по остановке автобусом и попал между ним и фонарным столбом. Автобус прижал меня к нему, и я от такого давления потерял сознание. Очнулся уже лежащим на полу автобуса. Вокруг толпились пассажиры и стоял милиционер. Когда меня подняли, он спросил: виноват ли водитель? Я ответил «нет», и автобус отпустили, а мы с ним пошли в ближайшую поликлинику. Там я снова потерял сознание. Очнулся уже в палате детской больницы и пробыл там две недели. Результатом происшествия у меня ещё долго были красные глаза, но потом всё прошло.

В прежнюю школу мать меня не пустила и зачислила в новую, 256-ю, что на углу канала Грибоедова и проспекта Майорова, ныне вновь Вознесенского. Он за мостом канала пересекается с нашей улицей Декабристов и упирается прямо в Исаакиевскую площадь и монумент Николаю Первому, Исаакиевский собор, за которым уже монумент Петру Первому «Медный всадник» и Дворцовая площадь. Так что мы теперь жили в самом центре Ленинграда, тем более что через дом был небольшой сквер, консерватория, а через Театральную площадь стоял приземистый главный театр города – Мариинский оперный (тогда Кировский).

С переездом в дворницкую матери и поступлением в новую школу у меня начался новый этап жизни. В школу я ходил через двор соседнего дома, где «кировал» управдом наш друг Пётр Тимофеевич Радивагин, вскоре ставший моим отчимом. Потом через калитку, выходившую на Львиный переулок, через знаменитый Львиный мостик канала Грибоедова с его огромными львами по сторонам моста и далее по набережной канала до проспекта Майорова, где и была моя новая школа и новые товарищи.

Этих товарищей я хорошо помню до сих пор, и не только по лицам, но и по именам и фамилиям: Гриша Гефсиманский, Толя

Беллюстин и Володя Зискинд. Ближайшим другом мне стал Гриша, у которого были проблемы со зрением, и он носил очки, был широколицым и довольно полным. Он жил прямо во дворе школы, в сохранившемся одноэтажном доме, и я у него часто бывал. Его фамилия – Гефсиманский – была, похоже, не случайной. Дело в том, что его дядя, с которым он жил, был священником Никольского собора, а мама служкой в соборе. Приверженности к религии я у Гриши не видел, ни в поступках, ни в домашней обстановке. Да и его дядя, похоже, был не шибко верующим. Во всяком случае Гриша показал мне пистолет дяди, вынув его из дядиного письменного стола. Пистолет для священника – это нонсенс. Вероятно, он был просто сотрудником НКВД. Этот пистолет дяди у нас с Гришей фигурировал в наших планах дальних путешествий на велосипедах, которые, однако, не состоялись. Я ездил один и без пистолета, а позже с ружьём.

Школьные товарищи, 1947 г.

О родителях Володи Зискинда я ничего не знал. Толин отец был врач, русский, а мать еврейка, т. е. этнически, как говорил Гриша, Толя был фифти-фифти. Зискинд, кажется, был еврей, но мы тогда этому не придавали значения. Про меня они говорили: сперва они думали, что я татарин.

В нашем пятом классе сложилась тесная группа единомышленников, и она влияла на характер и поведение всего класса. Нашу группу поддерживал сам директор. Он был преподавателем литературы и потому, может быть, предложил

нам выпускать свой журнал, что мы и сделали. По моему предложению журнал был назван «Салют», а обложку нарисовал Володя в виде сполохов салюта. В журнале печатались наши опусы, в том числе мои стихи, а также стихи других учеников класса. Вышло всего несколько номеров журнала, а с неожиданной смертью нашего дорогого спонсора выпуск прекратился. Как мы тогда узнали, он был заслуженным учителем СССР. Его провожала вся наша школа, и не только. Процессия шла по Невскому проспекту за катафалком, медленно двигавшемся к Александро-Невской лавре. Транспорт был остановлен, а на тротуарах стояло множество людей. Ничего подобного я позже в Ленинграде не видел.

Я становлюсь рабочим

Я проучился в 256-й школе только до седьмого класса. Мои родители в лице Петра Тимофеевича Радивагина и моей матери Ольги Фёдоровны, сменившей фамилию, сказали, что дальше учить меня не могут и мне нужно работать. Что я и сделал, поступив учеником киномеханика в кинотеатр «Арс», что на площади Льва Толстого. А учиться я продолжал, став учеником восьмого класса Ленинградской заочной средней школы. Школа находилась рядом с нашим новым жилищем у моста через Крюков канал, сразу за оперным театром. Нам дали небольшую, всего 17 кв. метров, комнату на Лермонтовском проспекте. Этот проспект очень короткий и примечателен тем, что в его начале, упиравшемся в улицу Декабристов, находилась синагога, а заканчивался он у ограды Никольского собора. Здесь как бы спорили (или дружили?) две религии. Наша комната была не только тесной для троих, но и тёмной – окно выходило в маленький двор высокого дома. Но Петра Тимофеевича отправили на пенсию, ну и мать ушла из дворников, став лифтёром в нашем подъезде. Отчим подрабатывал ремонтом обуви, что давало больше возможности для выпивки, хотя большим пьяницей он всё же не был.

В нашей квартире было ещё три комнаты, в каждой из которых жило по семье. В квартире был настоящий интернационал: русские, евреи и… татары. Они постоянно ссорились, а зачинщицей всегда была татарская семья. Парадокс был в том, что моя антисемитка мать всегда оказывалась на стороне еврейской семьи. Она мне как-то сказала: «Да их (евреев) надо убивать!» Я спросил – А Соню из дома 30 (мать с ней дружила) тоже надо убить? Мать: а при чём тут Соня? «Но она же еврейка». Маманя аж поперхнулась – да ну тебя! В общем, она сама не знала, откуда у неё это наносное.

Ученичество в кинотеатре у меня закончилось, и я стал киномехаником третьей категории. Она меня уже не устраивала – я пошёл и сдал на вторую. Но в «Арсе» места киномеханика второй категории не было, и я стал искать работу. Нашёл её в клубе ликёроводочного завода. Но тут бывшая наша соседка в Поповке и мать моего приятеля Юры тётя Лида предложила работу в геофизической экспедиции вместе с Юркой. Они жили недалеко, на Красной улице, в маленькой темноватой квартирке. А у отца Юры дядя Саши, офицера-ветерана, был знакомец – начальник Печенгской геофизической экспедиции, что на Кольском полуострове, на стации Апатиты. Мы с Юрой оказались

в геофизической партии в посёлке Ёна у финской границы. Сперва мы как рабочие-лесорубы прорубали для ведения магнитной съёмки профили, а потом уже как вычислители при операторе сами участвовали в ней. Мы заработали неплохие деньги и вернулись поздней осенью по тем временам «богачами», так что на вокзале, где меня встречала мать, я взял такси (помню, это была даже не «Победа», а ЗИМ).

Деньги, конечно, быстро кончились, а ранней весной теперь уже непосредственно геофизический трест направил меня в ту же Печенгскую экспедицию, но уже в другую партию, работавшую на Терском берегу с базой в прибрежной деревне Умба. Я ехал, несколько приодевшись – в черном плаще и даже в шляпе. В общем, выпендрился, за что девицы из соседней геологической экспедиции называли меня музейной редкостью.

Работал я теперь в электроразведке вычислителем при операторе Оле Саповаловой, в которую тут же влюбился, буквально. Она меня тоже выделяла, так что однажды после по какому-то поводу организованной попойки она положила меня к себе спать. Перед этим она сказала мне – держи меня крепко, что я и делал, и не более того. При всём выпендрёже я ещё был очень наивен, хотя мне было уже 18 лет. Жил я в палатке с парнем, бывшим курсантом морского училища, но за что-то отчисленным. Я был с ним в разговорах откровенным, и, как я узнал позже, он пытался сговорить ребят написать на меня как антисталиниста. Я антисталинистом не был, но возмущался тем, что в газетах нечего читать – одни поздравления по поводу 70-летия Сталина. Ребята не только отказались подписывать, но и, отобрав письмо, его порвали. Но он всё же написал, и вскоре начальнице пришёл приказ меня отчислить, как якобы оформленного неправильно. Но она отказалась, и я доработал до декабря, до конца работы партии. Как я потом узнал, он в раздевалке треста украл меховую шапку, был уличён в краже и из треста уволен.

Событием было и то, что я тогда в охотничьем обществе Умбы купил одноствольное ружьё. Порох к нему мне дали, а дроби не было, и я заряжал патроны какой-то металлической крупой, позаимствовав её у геологов. Крупа эта далеко не летела и только царапала ствол ружья. Однако я всё же пошёл в выходной день на охоту. Увлёкшись, далеко зашёл в глубь леса. Со мной бежала маленькая собачка, местная лайка по кличке Лапка. По пути мне встретилась большая стая тетеревов. Они сидели на сосне, и я по ним стрелял своей крупой, но они даже не взлетели. Тогда я выстрелил имевшимся у меня единственным патроном с пулей, конечно, не попал, и тогда только они улетели, «сделав мне ручкой».

Я пошёл дальше и тут на пригорке увидел свежевскопанный песок, очень удивился, поскольку геологов здесь заведомо нет. Но, подойдя ближе, я понял по свежему помёту, что это медведь роет себе на зиму нору-берлогу. Глупая моя собачонка по следу побежала догонять медведя, но я был не умнее и пошёл за ней. Добежав до кустов, она с визгом вылетела оттуда и чуть не сбила меня с ног. Тогда я понял, что медведь там, в кустах, а моя храбрая Лапка всё же впервые увидела живого медведя и искала у меня спасения. Тогда мы повернули обратно к берегу, и оказалось, что мы слишком далеко зашли: наступил вечер, а потом и ночь, а берега всё не было. Но мы до него кое-как, путаясь в кустах, всё же почти к утру дошли, почти прямо к нашим палаткам. Нам очень обрадовались, поскольку считали, что мы совсем в тайге пропали. Особенно радовалась Оля, тем более что я ей подарил всё же добытую своей «крупой» белку. Оказывается, они для нашей ориентации долго жгли огромные костры, пока не сожгли весь валёж вокруг.

Мы продолжали работать до выпадения большого снега и только при наступлении морозов свернули работы. В экспедиции нас окончательно рассчитали, а я из треста всё же был уволен. Начальник экспедиции предложил мне оформиться снова, но я отказался – у меня уже были другие планы.

Освоение Сибири

В Ленинграде я вновь приоделся, купил часы, ружьё – двуствольную тулку, и тут же решил ехать на работу в Сибирь. В Сибири мне импонировал Алтай. На Алтае работали экспедиции Западно-Сибирского геофизического треста, находящегося в Новосибирске. Я поехал в Новосибирск с пересадкой в Москве – хотелось посмотреть столицу. Дожидаясь новосибирского поезда, я гулял по Москве и уже почти ночью оказался на Красной площади. Осмотрел Мавзолей и обратил внимание на одно-единственное светящееся окно в здании за кремлёвской стеной (позже я узнал, что это был Кремлёвский дворец). И тогда подумал, что это кабинет Сталина, ведь он работает по ночам (чтобы никто не дёргал посещениями и звонками).

В Новосибирске нас почему-то высадили не на платформу, а на какие-то пути (поезд пришёл не по расписанию), и я по рельсам с рюкзаком пробирался на вокзал. В привокзальной гостинице, где я остановился на ночь, написал на вокзальное начальство злой памфлет, который так и не был напечатан.

Утром я уехал в Майму, что была под Горно-Алтайском и где располагалась геофизическая экспедиция. В экспедиции меня встретили неласково, заставив сначала представить характеристику с прежней работы. Письмо в трест я написал, но теперь нужно было долго ждать ответ. Поэтому я решил пока поохотиться в алтайских лесах и вскоре оказался в приграничном посёлке Шебалино на Чуйском тракте. Остановился на ночь у женщины с двумя взрослыми дочерями. Утром пошёл в лес на охоту. Оказался в кедровом бору и проблудил там до ночи. Убил только одну белку и, к счастью, нашёл настоящий чум, где и заночевал на имеющейся соломе. Поужинал пожаренной на костре белкой, а в припасённом котелке сварил чай. Утром вернулся в посёлок, и моя хозяйка познакомила меня с местным охотником, который собирался на охоту по косулям и взял меня с собой. Охота была групповой с засадами и загонами на монгольских лошадках из звероводческого совхоза, где и собиралась охотничья группа. Лошадки табуном пригонялись из соседней Монголии для прокорма чёрно-бурых лисиц, которых здесь выращивали. Лошади были небольшими, но для нашей зимы подходящими: двигаясь, они грудью разбивали целые сугробы. Мы ездили на них без сёдел, лишь с одной уздечкой, подбадривая каблуками сапог. Охота не удалась, ни одной косули мы не добыли.

Возвращаться вниз было поздно, и я заночевал в стоявшей

одиноко в лесу маленькой избушке, с крышей из коры дуба, у одинокой женщины-алтайки с ребёнком. Обстановка в избушке была примитивной, жарко натопленной, а хозяйка ходила по пояс голая, с огромными грудями, меня ничуть не стесняясь. Она мне предложила пиалу с молоком, но я отказался, потому что в молоке плавал мусор.

Вернувшись в Шебалино, я пошёл в местное охотничье общество, чтобы пополнить запас патронов. Там мне предложили пройти за патронами в другое здание. Это здание оказалось милицией. Я стал возмущаться примитивным обманом: дескать, сказали бы, я б и сам пришёл! Просто ругался, но меня быстро утихомирили, заявив, что я нарушил закон, не зарегистрировавшись в пограничной зоне. Они долго созванивались с Ленинградом, выясняя достоверность моих документов. Найдя, что они в порядке, предложили заплатить штраф 500 рублей. Таких денег у меня уже не было. Тогда мне было предложено побыть у них, пока родители вышлют деньги. Это было нереально, и я вынужден был продать часы женщине в швейной мастерской. Часы здесь являлись дефицитом, и я их продал по номинальной цене, так что смог рассчитаться с милицией и хозяйкой.

Приехав на попутной машине в Майму, узнал, что характеристика пришла и оказалась хорошей. Тогда замполит экспедиции (была тогда такая должность) нашёл другой предлог меня подзадержать: восстановить просроченный комсомольский билет. Пришлось идти в районный комитет комсомола, где мне не только «влепили» выговор «за отрыв от коллектива», но и заставили заплатить просроченные взносы. Они были небольшими – два рубля в месяц, но за два года «отрыва» набралось. Замполит нашёл ещё какой-то предлог. Тогда я, чуть ли не плача, пошёл к начальнику экспедиции. Тот, выслушав меня, отправил в село Алтайское, где работала даже не партия, а небольшой отряд магниторазведки.

Там я прижился и бодро осваивал лыжи на огромных сугробах алтайских предгорий: приходилось совершать гимнастические кульбиты при падении, чтобы не повредить капризный магнитометр, «весы», как мы их называли. Это были действительно весы: стрелка показателя, как плечи весов, покоилась на грани кристаллика, малейший толчок сбивал стрелку с грани и прибор становился неисправным. Мне мои «соратники» по духу казались примитивными, не о чём было поговорить. Однажды двое из них стали хвалиться, что они потомки Ермака. И тут я выдал: «Сидят два дурака, потомки Ермака». Конечно, был риск, что набьют физиономию. Парни

смолчали, но зло затаили. С тех пор мне становилось работать всё труднее – начались мелочные придирки.

Поэтому ближе к весне я уехал в Майму и уволился, отправившись в Новосибирск и представ перед самим начальником треста, попросил направить меня в электроразведку. Он не только выписал мне направление в Змеиногорскую партию, но и назвал меня в направлении младшим техником, чем я, конечно, возгордился.

До Змеиногорска я добирался долго и трудно. На железнодорожной станции вынужден был остановиться на ночь, так как из-за весенней распутицы по единственной грунтовой дороге единственный автобус не ходил. Проехать можно было только на очень вездеходной машине, типа студебеккера, которого в наличии не было. Поэтому я поселился на ночь в маленькой пристанционной гостинице с одной большой комнатой с несколькими кроватями, где уже находилась молодая женщина. Она пыталась меня разговорить и даже предлагала сдвинуть кровати вместе, но я устал и отказался. Она, похоже, рассердилась, так что утром уехала на присланной лошади, не попрощавшись. Позже я тоже уехал на случайно проходившем студебеккере. Машина буквально ползла вверх, разгребая дорожную грязь, и мы добрались до места только к вечеру. Переночевал в конторе экспедиции, а утром узнал, что она сейчас на зимних каникулах и меня оформят на работу только через месяц. Деньги были на исходе, и я вынужден был экономить, живя только на рубль в день. Через месяц меня оформили, дали аванс и назначили руководителем группы электроразведки. Группа состояла из меня – оператора-руководителя группы, вычислителя, симпатичного паренька Коли, почти моего ровесника, и пятерых девушек-рабочих ещё школьного возраста. Группе была придана красивая молодая лошадка, серая в «яблоках», с телегой и даже с седлом и овсом для неё, а также соответствующее техническое оборудование. Главным в нём был электроизмеритель определения сопротивления почвы, по которому и определялся её состав и характер; несколько больших и громоздких аккумуляторов, провода к ним. Все мы были комсомольцами, так что группа вскоре стала называться комсомольским разведотрядом. Наши девушки приоделись в одинаковые спортивные костюмы, и отряд приобрёл свою униформу. Руководила девушками старшая рабочая Валя, подруга Коли.

Всё лето мы базировались в небольшом посёлке около электростанции, обеспечивавшей электроэнергией золотодобывающие шахты, а нам определили поиск урана. Экспедиция снимала для нас дом одинокой старушки, которая

нас морально курировала и обеспечивала овощами из своего огорода. Мне запомнились её чудные дыни. Наши девушки, да и Коля, общались с девушками посёлка и часто вечерами ходили к ним на посиделки и гуляния. Звали и меня, но я не ходил, вероятно считая, что мне, руководителю комсомольского отряда, это было «не к лицу». Мы создали даже свою стенную газету, где я печатал свои стихи советско-патриотического характера, Коля – свои статейки о нашей работе, и даже девушки писали в неё свои соображения того же порядка. Работа у нас шла успешно, и «показатели» с приобретением опыта быстро росли. Вскоре наш отряд наградили «переходящим красным знаменем», но это, похоже, было условно, поскольку знамени никто не видел; зато уже конкретно наградили радиоприёмником «Родина».

С приближением лета склоны гор покрылись красным цветом – это созрела горная земляника, которой мы объедались, причём буквально. Мы её ели, заедая мёдом и запивая свежим молоком из соседней пчелофермы. И вскоре все от аллергии покрылись пятнами. Пришлось умерить ажиотаж с земляникой и мёдом.

К нам в отряд неожиданно приехало высокое начальство – сам знакомый мне директор треста с заместителем. Заместитель шёл с нами по профилю и смотрел, как мы работаем. Потом он попросил поработать с аппаратом самому, но скоро оборвал включатель, висевший на особом проводе. «Я же всегда говорил, что это неудачная конструкция», – возмущался он. Я тоже считал, что она неудачна. Чтобы подтвердить это, взял носовой платок и через него стал нажимать непосредственно на включатель, находившийся внизу аппарата, и работа продолжалась. Удивляясь, что я уж слишком быстро определяю показания прибора, не дав колеблющейся стрелке даже успокоиться, он возмутился: «Дай хоть начальству-то посмотреть!» Он велел девочкам переставить штыри-контакты и сам через платок сделал новый замер, дав стрелке успокоиться. Сравнив показатели и найдя их очень близкими, он ещё больше удивился. А мой секрет здесь был очень прост: значение показателя я определял, находя середину между отдельными сторонами колебания вправо-влево. Она и была реальным показателем электрического сопротивления породы; это я проверял много раз, давая стрелке достигнуть стабильности. Это и позволяло нам ускорить работу, не ожидая, пока стрелка будет долго успокаиваться. Старик не понял простоту моего приёма и говорил при мне и директоре треста начальнику экспедиции: «Конечно, с такими кадрами можно иметь высокие показатели». Он, вероятно, знал, что это был «кадр» директора.

Зрелость

В армии как доброволец

В город я ездил на купленном велосипеде или же на своей серой в яблоках лошадке, резвясь и скача прямо по степи. Но лето заканчивалось, а в начале осени меня призвали в армию. Ведь я и так на «гражданке» пересидел два лишних года – мне уже было 20 лет. Начальство предлагало броню, положенную в экспедиции, но я отказался. Пошёл в армию, так сказать, добровольцем. За это начальство меня наказало тем, что при расчёте вычислило с меня всё, что можно и что нельзя, – стоимость каких-то проводов и аккумуляторов, и даже цену как бы ещё нового радиоприёмника, который у нас почему-то испортился. Но все равно я получил по тем временам большие деньги – более 5 тысяч рублей, да и велосипед по дешёвке продал Коле. 2 тысячи рублей я отправил Ольге Фёдоровне. Как она рассказывала потом, её присланные деньги удивили, и вначале она думала, что это всего 200 рублей. Дома обнаружила, что это 2 тысячи, что составляло её семимесячный заработок лифтёра. Она легкомысленно решила, что теперь может несколько месяцев отдохнуть, и это было её ошибкой, поскольку тогда как раз наступил её пенсионный возраст и пенсию ей не дали как неработающей. Я же уходил в армию богачом, имея в кармане более 3 тысяч рублей. Из Змеиногорска нашу группу призывников привезли в Барнаул, где мы прошли медкомиссию.

Солдат авиадивизии, официальный снимок

В Барнауле я сходил в театр и там, в киоске, купил полюбившиеся мне книги: том собрания переводов Самуила Маршака (он и сейчас у меня лежит на полке) и собрание стихов Сергея Есенина (сборник кто-то «увёл» недавно из моей библиотеки). И эти книги всегда были со мной. (Тут как-то я прочитал лживые уверения антисоветчиков, что Есенина убили большевики, а его стихи при Сталине больше не печатали. А то, что после его смерти было напечатано полное собрание его сочинений большим тиражом, и вот издание сборника ещё при жизни Сталина (1952 год) – это как? Подлость фальсификаторов.)

В товарном эшелоне, в котором нас везли на Дальний Восток,

мои большие деньги быстро таяли, и не только потому, что я питался за свой счёт, пренебрегая казёнными харчами, очень скудными, но и по легкомыслию одалживая своим соседям по вагону. И даже «схлопотал» синяк под глазом, когда стал увещевать их не безобразить на остановках и не грабить старушек, торгующих семечками.

Солдат отдыхает

В сквере у штаба авиадивизии

В Благовещенске эшелон расформировали по группам; ту, где оказался я, привезли в Новосысоевку. Там был штаб авиационного корпуса 54-й армии Военно-Воздушного Флота, и недалеко находилась одна из авиадивизий корпуса. Нашу группу преобразовали в учебную роту, и мы стали учиться на связистов, периодически отстукивая на телеграфном ключе и проходя строевую подготовку. После окончания обучения в учебной роте, после проверки моей лояльности в Отделе КГБ, я стал в штабе корпуса заведовать складом секретных топографических карт.

Такой неожиданный скачок в моей военной службе произошёл, вероятно, потому, что я раньше был не просто колхозником, но киномехаником и геофизиком, младшим техником.

Но должность мою почему-то сократили, и тогда из штаба корпуса меня направили в штаб авиадивизии сотрудником секретной библиотеки и склада топкарт. Это было всё же повышение, поскольку теперь у меня была отдельная комната, а в ней – огромная литература военного и даже художественного характера. А главное – пишущая машинка, которой я воспользовался для печатания своих опусов. Это были художественные рассказы, фельетоны и просто отдельные сообщения из нашей армейской жизни. Всё это печатала газета штаба армии «Боевой курс». Мне даже предлагали перейти на службу в редакцию газеты в качестве военного журналиста со званием младшего лейтенанта. Но я отказался, поскольку не хотел быть военным, а мечтал быть писателем, «свободным художником» вроде Пришвина. Жить в приморской тайге в своей избушке, как он, и писать о природе и животных, подобно Сетон-Томпсону.

С начальником штаба полковником Завиловичем отношения у меня не сложились. Он был, судя по наградам, боевым офицером, но ему не повезло. Его, начальника оперативного отдела штаба армии, за «отсутствие бдительности» понизили до начальника штаба дивизии. Причиной было то, что во время корейской войны американские самолёты напали на наш аэродром и сожгли несколько наших самолётов, повредили здание аэродрома, имелись человеческие жертвы. Понижение полковник переживал, начал пить… Мы уже знали, что если Завилович пришёл весёлым и приветливым, значит, он хорошо «выпимши», а если злой – значит трезв.

Меня он не любил, считая ставленником, а может быть соглядатаем корпуса. В этом убеждении его мог укрепить один случай. В дивизию приехал полковник, начальник оперативного отдела штаба корпуса, тот, который и направил меня сюда. Он разговаривал с моим непосредственным начальником – милейшим майором Малышевым, в его кабинете. Майор в ходе их разговора зачем-то вызвал меня и стал отчитывать. Полковник вызверился: «Ты почему его отчитываешь при мне!» Бедный майор аж посерел, и мне его стало жалко. Это могло стать известным Завиловичу и укрепить его неприязнь ко мне. Впрочем, были и другие случаи, эту неприязнь лишь укреплявшие. Так, однажды в штаб пришла телеграмма: «Мать Михаила Сетрова Радивагина умерла». Конечно, я был жутко опечален и стал просить положенный в этом случае отпуск. Завилович меня уговаривал не

ехать так далеко – дескать, её всё равно уже похоронили. Но я настаивал на поездке, поскольку мне надо уладить дела с квартирой и домашними вещами.

Ехать до Ленинграда нужно было аж десять дней, столько же обратно, и десять дней я мог пробыть дома. В общем, месяц на свободе, только печалила сама причина поездки. Мать оказалась живой, а умерла другая Радивагина – младшая дочь Петра Тимофеевича, которую я даже не знал. Телеграмма не была заверена военкоматом и потому фактически была недействительной, чего в штабе не заметили. А может быть, майор Орлов, начальник административного отдела, специально проигнорировал факт незарегистрированности телеграммы, поскольку он тоже был ленинградцем и, наверное, я ему импонировал. В каждом приказе он писал: «Присвоить рядовому М. Сетрову звание ефрейтора», но Завилович мою фамилию вычёркивал. Так я и остался на всю жизнь рядовым, что меня даже радовало – меньше спроса.

Дома я переоделся в гражданское. Завилович перед моим отъездом попросил купить копчёной воблы и дал на это какую-то сумму денег. Я обегал весь Питер, но ни копчёной, ни даже вяленой воблы не было, только соленая, пришлось купить её. Запоминающимся событием для меня была встреча и общение с моим двоюродным братом Анатолием. Я был скромненько одет, а он – в шляпе и кожаном пальто, швырялся деньгами и водил меня в кафе. В чём тут дело? Оказывается, мой дорогой друг детства в самом центре Ленинграда стал вором в законе. У него почти на углу проспекта Майорова и Садовой улицы в полуподвале была своя «малина». Парадокс в том, что рядом, за углом, на Садовой улице находилось наше 6-е отделение милиции, в котором его знали с детства. Толька был светловолос и потому среди своих имел кличку Толька Сивый.

Я хорошо помню, как начиналась его воровская «карьера». Мужчина, которому он залез в карман, схватил его за воротник пиджака. Толька вывернулся и убежал, но в милиции его пиджак знали, и он оказался в детской колонии. Позже Толька имел ещё несколько «отсидок», стал рецидивистом, а потом и вором в законе. Но, в общем-то, вором он стал отчасти по глупости нашей тёти Маши: она, дав ему трёшку на кино, говорила: только ты её мне верни! Но откуда мальчишка мог взять деньги – только украв.

«Толька Сивый» повёл меня в свою «малину». У меня на руке были отцовские золотые часы с золотым же браслетом. Я спросил Тольку: может быть, снять? «Ну что ты, – сказал он, – кто тебя при мне тронет!» В полуподвале собралось много народа, среди которых оказался даже студент университета. «Мой брат, –

кивнув на меня, сказал Толька. И с гордостью: – Штабник!» Но годы «отсидок» сказались, и он в сорок лет умер.

Вернувшись на службу, от Завиловича я вновь получил «втык» – он возмутился, что вобла не копчёная, и её не взял, потребовав вернуть деньги. Я отдал ему всё, что у меня осталось, а воблу мы с товарищами съели сами. Но из-за этого полковник ещё больше на меня взъелся. Это обнаружилось скоро. Меня послали с пакетом в штаб армии, находившийся в городе Ворошилов-Уссурийск. Я летел на стареньком По–2, сидел по пояс открытым всем ветрам, в ушанке и в авиационных очах, в меховых рукавицах, держась за борт самолёта. Когда самолёт качнуло, великоватая на моей руке рукавица сорвалась и полетела вниз. И вдруг мотор заглох, и наступила зловещая тишина. Самолёт стал падать, хотя и немного планируя. Но садиться всё равно было некуда, поскольку, куда ни глянь, везде были скалы и острые пики лиственниц. Лётчик, однако, что-то сделал, и мотор заработал. Мы стали подниматься вверх уже у самых вершин могучих лиственниц.

В Ворошилов-Уссурийске на аэродроме, когда для посадки лётчик сбавил обороты, мотор вновь заглох, и мы садились, планируя. При ударе о землю колёса погнулись, и мы не вылетели из-за борта только потому, что были пристёгнуты ремнями. Пакет я, конечно, сдал, но наш неисправный самолёт не выпустили, и я должен был во всём этом лётном обмундировании ехать обратно поездом, встречая удивлённые взгляды людей.

Вернулся в штаб только на следующий день, и тут на меня накинулся Завилович: дескать, из-за тебя были в штабе проблемы – нужна была важная разработка. Я, конечно, оправдывался, объясняя причину моей задержки, но полковник ничего слышать не хотел – виноват и всё! Получи три дня гауптвахты. Я больше спорить не стал и, сдав ремень старшине, отправился на «губу». Гауптвахта для солдат была отдыхом, да и кормили там лучше, поскольку в столовой на кухне для «губы» в канистру наливали «со дна пожиже». Но отдохнуть мне долго не дали, ведь библиотеку я закрыл, а ключи были со мной. Понадобилось что-то в библиотеке, хватились, а рядового Сетрова нет. Сказали, что на гауптвахте. Завилович удивился: он что, всё-таки пошёл?!

Но на этом придирки не закончились, и вскоре, когда я был дежурным по штабу, утром первым заявился Завилович. Он был злой, трезвый. Как положено, я доложил, что все в порядке, никаких происшествий не было. «В порядке? – зарычал он. – А это что?» И показал на валявшийся у стены окурок. Я тоже схамил: дескать, не курю, а это кто-то из офицеров бросил. Тот: убирать надо! И брызгая слюной, ушёл. Всё это мне не прошло даром.

Вскоре меня перевели в один из полков, киномехаником в клуб. Но позже я обнаружил, что это даже к лучшему, поскольку моя жизнь стала свободнее и интереснее. Даже в казарме у нас были свои льготы: когда кричали «Подъем!», мы с товарищем, первым киномехаником, продолжали спать. Если проверяющий обращал внимание на наше непослушание, ему говорили: «Да это фото-мото». Дело в том, что нам по очереди приходилось допоздна следить за аппаратурой полкового радио, отсюда наши «привилегии». Начальником клуба был милый и общительный лейтенант Гена Живов, и мы с ним быстро нашли общий язык. Уже после демобилизации я встретил его в Ленинграде.

В клубе же я встретил девушку, в которую влюбился. Кажется, она тоже обращала на меня внимание, но романа у нас не получилось. С приходом Хрущёва последовало сокращение армии и сроков службы, назревала скорая демобилизация, так что роман всё равно был бы коротким. Меня смущало и то, что она дочь капитана, а я только рядовой. Стихи для «капитанской дочки» всё же написал, хотя ей так и не вручил. Они были короткими:

Сорвал я лилию-цветок,
Хотел прижаться к ней губами,
Но каждый нежный лепесток
Свернулся вдруг, сверкнув слезами.

Спросил я лилию тогда:
Зачем стыдиться поцелуя,
Ведь, право, счастья никогда
В другом цветке не отыщу я?

Но не раскрыл цветок венка,
И горечь в сердце велика.

Путь домой и в университет

Вскоре меня, как и многих других, демобилизовали. Возвращаться в «Европу» нам предложили опять же в товарных вагонах, и ехать домой пришлось бы целый месяц. Но был близок Новый год, и хотелось поспеть к нему, поэтому решил пробираться зайцем в пассажирских поездах. У меня это получилось, поскольку проводницы были милостивы к несчастному солдатику, находили место, хотя бы и на багажной полке, и даже бесплатно поили чаем. К Новому году я домой всё же успел и был встречен, как положено, со всей любовью. Но долго отдыхать не приходилось – нужно было искать работу. Решил стать квалифицированным рабочим и закончить десятилетку, чтобы потом поступить в вуз. Работу в качестве ученика фрезеровщика нашёл на старинном военном заводе «Арсенал», создававшем ещё до революции корабельную артиллерию. Завод был огромным, находился недалеко от Финляндского вокзала, а его корпуса располагались (и располагаются до сих пор) по обе стороны Комсомольской улицы, растянувшись на несколько кварталов. Цех и его проходная выходили прямо на эту улицу. А сразу же напротив, в здании такого же кирпичного цвета, находилась средняя вечерняя школа завода, куда я и поступил в десятый класс. В огромном цеху, по размеру подобному заводу средней величины, меня как ученика фрезеровщика определили к молодому, но опытному рабочему. Освоил станок быстро и уже работал на нём сам, а «учитель» отдыхал рядом, покуривая. За проездом, по которому курсировала симпатичная, понравившаяся мне девушка на электрокаре, работал токарь, дочищавший нами обрабатываемые детали странного вида, назначение которых мы не знали. Он периодически вынимал из железного шкафчика бутылку водки и прикладывался к ней. Я удивлялся тому, что это он делал не скрываясь, а начальство этого как бы не замечало. Мне сказали, что ему всё прощается потому, что он большой спец и на качество его работы бутылка не влияет. Вскоре мне дали свой станок, и я стал обрабатывать те же детали рядом со своим обучающим. Правда, обучение заключалось лишь в том, что он однажды показал, как закреплять деталь, вставлять резец, что в детали прорезать и на какую глубину, а потом он в мою работу не вмешивался, что меня устраивало. Обучение должно было длиться 9 месяцев, но через полгода мне присвоили второй разряд, и я стал работать совсем самостоятельно.

Даже ещё числясь учеником, я получал 900 рублей, т. е. втрое

больше, чем моя мать-лифтёр, и на сто рублей больше, чем тогда была ставка милиционера. Ну а уж став самостоятельным рабочим, зарабатывал до полутора тысяч рублей. Оплата была сдельной, и я решил увеличить «выпуск продукции». Всегда удивлялся, что наша фреза вращается очень медленно, и попробовал увеличить её обороты: работа пошла быстрее, а прорезь стала чище, так что моему соседу-слесарю там и делать было нечего. Ещё прибавил обороты фрезы, сменив резец на более мощный, и работа пошла еще быстрей. К вечеру у меня около станка была гора обработанных деталей. Но пришёл мастер и обругал меня: «Ишь, стахановец! Будто мы это без тебя не знали. Сократи обороты и работай как прежде». Я был удивлён, но вынужден был уменьшить обороты фрезы. Как потом я узнал, такая установка была дана «свыше» начальником цеха. Дескать, поскольку деталь в производстве новая, на её освоение даётся год и к его концу нужно увеличить её производство на пять процентов, не более и не менее. Я считал это абсурдом, но мне опять же объяснили, что агрегатов, куда входит эта деталь, будет лишь энное количество, соответственно и данных деталей будет нужно только такое же количество. Это, конечно, была бюрократическая софистика, поскольку нержавеющие детали могли храниться любое время, а станки выполняли бы другие заказы. Но другие заказы начальству не нужны – это просто лишние хлопоты.

В цехе работало около 300 человек, из них, несомненно, не менее ста человек были комсомольского возраста, но при наличии парткома в цехе не было комсомольской организации. Секретарь парткома, симпатичный пожилой мужчина, попросил меня организовать комсомольскую организацию и стать её секретарём. Это было трудное дело: выяснить, кто из молодых людей является комсомольцем, а кто хочет им стать. При опросе обнаружились и те, и другие. В конце концов возникла организация с 50 членами. Организацией были обнаружены различные виды ущемления интересов молодых работников, как в условиях работы, так и в зарплате. Мы старались восстановить справедливость относительно молодёжи в этих вопросах; создали стенную газету, наглядно отражающую подобные вопросы, боролись с пьянством, ставя коллектив цеха в известность о фактах такого рода и всех негативных случаях в цехе. Нашлись и художники-карикатуристы, они делали газету более интересной и наглядной. Некоторые статейки и «обнародованные» факты перепечатывала газета завода, где я опубликовал и свои рассказы времён моей военной службы.

Домой я обычно возвращался поздно, поскольку вечером

находился в школе. Там у меня случилось неприятное происшествие. Однажды директриса школы ворвалась в класс и грубо, с истерикой, потребовала от меня выйти вон. Она заявляла, что я незаконно нахожусь в десятом классе, не закончив девятый. Фактически так оно и было. Я пошёл в отдел образования райисполкома и объяснил, что девятый класс не мог закончить, потому что работал в сибирской экспедиции, а потом служил в армии на Дальнем Востоке. Мне пошли навстречу и разрешили учиться в десятом классе, досдав предметы за девятый, что я, конечно, и сделал. Причём дарвинизм я сдавал самой директрисе. Поскольку дарвинизмом я интересовался давно и читал по его вопросам серьёзную литературу, например «Психология животных», то она от моих ответов была в восторге, поставила пятёрку, и у нас с ней таким образом возникло полное согласие.

От нашего цеха требовали предложить рабочего кандидатом в депутаты райсовета. Директор цеха предложил меня, но парторг возразил, что, дескать, Сетров нужен цеху, и кандидатом в депутаты послали одну из моих продвинутых комсомолок. В работе у меня тоже произошли изменения: меня определили в сборочный отдел цеха обкатчиком лебёдок, служащих для поворота корабельных орудий. Работа была более престижной, более интересной и лучше оплачиваемой.

Но весной я закончил десятый класс и решил, как и планировал раньше, поступать в университет. И несколько необдуманно подал заявление об увольнении. Парторг сетовал по поводу потери «кадра», но возразить ничего не мог: «учёба – святое дело!» Но учёба в этом году не получилась. Как будущий писатель, я решил поступить на журналистский факультет университета. Русский язык и литературу я сдал на хорошо, а вот на любимой мной истории провалился. Парадокс заключался в том, что мне попался вопрос по двадцатому съезду КПСС, о котором я в цеху комсомольцам сам рассказывал, и поэтому его знал хорошо. Но экзаменаторы задавали вопросы, малозначимые для сути дела, например, сколько на съезде было делегатов, сколько проголосовало за резолюцию и тому подобное, явно пытаясь меня завалить (нужно было пропустить лишь определённое число абитуриентов при большом конкурсе на поступление в университет). Сказывался механический характер отбора, так что проходили по конкурсу «зубрилы», а реальные способности никак не просматривались. Ведь вот я уже был почти готовым журналистом, пишущим и даже печатающим свои рассказы и очерки, но остался «за бортом».

Люба и я после свадьбы

Люба, её племянница Наташа, Ольга Фёдоровна и Пётр Тимофеевич в доме на Лермонтовском проспекте

Пришлось вновь искать работу, и я нашёл её на заводе «Геологоприбор», что было мне ближе. Да и завод находился недалеко от дома – на улице Гоголя. Но там работали автоматы, штамповавшие детали для приборов: работа была чисто механической и потому неинтересной. Вскоре уволился и поступил страховым агентом Госстраха в Куйбышевском районе. Здесь районный комитет комсомола мне опять «влепил» выговор за «отрыв от коллектива». А мой странный, на первый взгляд, выбор новой профессии мотивировался желанием получить более глубокие знания людей, необходимые будущему писателю. И действительно, я убедился, что эта профессия позволяет глубже заглянуть в души людей, в их характер. Так, зайдя в одну из квартир, которые я посещал с предложением застраховать имущество или жизнь, и узнав, кем является её хозяйка, удивился скудности жилья директора магазина. Та уловила мой удивлённый взгляд и сказала: «Что, скромно живу? Да, так, и это потому, что не ворую».

Продолжая работать в Госстрахе, осенью поступил на университетские курсы подготовки к поступлению на философский факультет университета. Новый выбор факультета опять же определялся интересами будущей писательской работы, как более глубокого понимания вещей. Я вовсе не собирался быть учёным-философом, не думал об этом. И здесь, на курсах, я

нашел свою «судьбу»: рядом со мной сидела скромная, тихая и симпатичная девочка, которая мне нравилась и которую я полюбил. Мы с ней общались и вне курсов и уже так тесно, что стали целоваться. Вступительные экзамены в университет я преодолел, хотя только на «четвёрки», а она снова не прошла. Как потом она мне говорила, она боялась, что моя дружба с «провалившейся» девицей закончится. Но тесная дружба продолжалась, и в честь её мной были сочинены не только стихи, но и целая поэма-сказка о молодом охотнике, влюбившимся в лань, которая оказалась заворожённой девушкой-красавицей. Текст поэмы был, к сожалению, утрачен, и я помню только несколько строф.

Через кручи скал, лесные дебри,
Сквозь кусты, чьи иглы словно стрелы,
Где проходят только злые вепри,
Шёл охотник, молодой и смелый.

Вдаль глядит пытливыми глазами,
Полный нетерпенья и надежды,
Но опять над синими горами
Занимался день как прежде.

Звонко пел ручей, стремясь в долину,
Солнце ласково заглядывало в очи,
Горный дуб, к нему склонясь вершиной,
Прошептал листвой: «Чего ж ты хочешь?

Всё твоё, земля не оскудеет,
Сын любимый матери-природы,
Для тебя прохладой ветер веет,
Для тебя закаты и восходы!»

Не ответил на слова привета,
Полный нетерпенья и надежды,
Словно там, за синей далью где-то,
Ту желанную его увидят вежды.

У ручья под серою скалою
Отдохнуть решил он на закате,
Только слышит вдруг он за спиною
Чей-то вздох и плеск упавших капель.

Оглянулся юноша и видит

Лань живую с грустными глазами.
Искрами сверкая в бликах света,
Капли с нежных губ её стекали.

Только звонко стукнули копыта,
Лань исчезла эхом в отдаленье…
Но тоска охотником забыта —
Он нашёл предмет своих стремлений.

Дальше стихи не помню, да и запомнившиеся не во всём точны. Конец сказки, конечно, хороший: юноша, устремившись за ланью, увидел ограду, за которой были деревянные хоромы, как дворец. На дворе стояла девушка, в которой он по глазам узнал встреченную лань, а на балконе – её мать. Юноша позвал девушку, но мать возразила. Помню двустишие:

Ты смущаешь дочь – она моя отрада,
У неё всё есть, и нам тебя не надо!

Но девушка, превратившись в лань, убежала за юношей. Такая вот любовная сказка, в которой как бы подразумевались я – охотник и моя лань – Люба.

Свадьбу мы справили осенью. На ней были все мои друзья по курсу, и они нам подарили кофейный сервиз с надписью на кувшине: «Этот кофейник робко надеется жизнь провести не впустую. Выпейте кофе из этой посудины в свадьбу свою золотую». Этот сервиз и сейчас стоит передо мной на полке, но моей Любы, ещё маленькой девочкой пережившей блокаду, давно уже нет. Образ лани возник не случайно – он позаимствован из повести Пришвина о его проживании в уссурийской тайге после окончания Русско-японской войны в Маньчжурии. Он тогда, покинув армию и прихватив с собой карабин с ящиком патронов, оказался там и стал жить бирюком, пробавляясь охотой и «подножным кормом». Им был построен домик, ограду которого быстро увил дикий виноград, которым он, как Робинзон Крузо, питался. Однажды он увидел лань, которая стояла у ограды, просунув через неё передние копыта, и ела виноград. Хозяин не стал её пугать, и она, наевшись винограда, ушла. Одинокий мужчина позже сетовал: «Милая лань, почему я тебя не схватил за копытца!» Вот и я, помня этот образ и слова Пришвина, не раз их повторял, как в случае с «капитанской дочкой», так и с Олей на Терском берегу.

Университет и новые друзья

Поступление в университет было для меня большой радостью. На философском факультете (где существовали секции психологии, физики, химии, биологии и кибернетики) меня за мои четвёрки на приёмной комиссии определили в секцию психологии, как тогда наименее престижную, хотя я хотел быть в биологической. Но студенты биологической почему-то разбежались по другим секциям, в том числе и в психологическую, а в биологической никого не осталось. По моей просьбе, меня в неё перевели, и она сохранилась, но я в ней оказался единственным студентом. Лекции по биологической специализации мне читали одному. Так что мы с Леонтием Евменовичем Ходьковым шли на скамейку Менделеевской улицы (фактически, бульвара) – тогда еще было тепло, и он мне читал общую биологию одному. Ходьков был кандидатом биологических наук, селекционером, доцентом, и мы с ним просто сдружились, а вскоре, помогая ему в научной работе, я тоже стал селекционером. И у меня даже появился свой штамп голозёрного безостого ячменя, поименованный ГБ–2. На первой сессии был только один экзамен по общей биологии (остальные зачёты), и я, конечно, получил пятёрку, что давало право на повышенную стипендию. Повышение было пустяковым – вместо 290 рублей теперь 400. Надо было прирабатывать, и Леонтий Евменович оформил меня сотрудником на экспериментальном участке, что на Карельском перешейке в деревушке Шушино. Сотрудниками были только он и я. Там выращивались новые сорта голозёрного безостого ячменя. Зарплата невысокая – всего 400 рублей, и только летом, но всё же прибавка к стипендии. Жил я в большом финском доме около участка, потом привёз и Любу, и мы с ней собирали землянику, а позже, к осени, и чернику.

После начала кукурузной эпопеи колхозам и совхозам было предложено сеять кукурузу. Но поля-то оставались всё те же, пришлось её выращивать вместо картошки. Проблему решали пока экспериментально, выращивая картошку среди кукурузы. Эти эксперименты мы стали проводить на одном из участков совхоза Петровский, что тоже на Карельском перешейке у станции Петеярви. Участок находился у деревни Ольховка возле большого озера Суходольское, и мы «базировались» в одном из её свободных финских домов. Рядом в лесу было много грибов и черники, а я на озере пытался ловить рыбу, но рыбы было мало – выловили браконьеры сетями. Эксперимент заведомо не удался, потому что мощные корни кукурузы подавляли рост картошки.

Но это всё же надо было выяснить. Что мы и сделали.

Мои занятия по биологическому циклу проходили на биофаке. Здесь среди преподавателей выделялся доктор наук, заслуженный учёный Кирилл Михайлович Завадский, он читал курс дарвинизма. На одном из занятий я снахальничал и сделал замечание профессору, поправив его. Он рассказывал нам о сути сформированной им системы уровней строения живого – от вируса до высших животных и их биоценозов. Когда он перешёл от строения живого на уровне клетки к организму (так было в его схеме), я заметил, что клетка тоже ведь является организмом и, как и многоклеточный организм, самостоятельно входит в популяцию. Профессор хмыкнул, но ничего не сказал, как бы не заметив замечания нахального студента. Но вскоре стал моим куратором в биологии, а с замечанием он согласился только на защите моей докторской диссертации, будучи моим оппонентом. Я остаюсь благодарным Кириллу Михайловичу в том, что это он подвиг меня на создание собственной системы уровней организации живого, постепенно переросшей в «Генеральный план Мироздания», или Пятую версию Научной картины Мира. Мы, как и все студенты, осенью ездили копать картошку (вероятно, я её накопал «на всю оставшуюся жизнь»). Запомнилась первая такая поездка.

Наш курс оказался в совхозе Кирилловском. Через неделю Люба сообщила, что хочет ко мне приехать, и назначила день. В этот день я на коне (совхоз разрешил) поехал на остановку автобуса к выборгскому шоссе (около 10 километров), гордо прогарцевав перед своими товарищами. Но Люба не приехала – она приболела. Меня за пропущенный день работы заставили поработать на кухне. На обед должна быть опять манная каша – совхоз нас ею заморил, тем более что она всегда оказывалась пригорелой. Девчонки-поварихи оправдывались тем, что котёл слишком большой, но они просто оказались лентяйками. Я заставил кашу при варке постоянно мешать, а потом добавить, как и положено, сахар и масло. Попробовав вечером кашу, ребята стали кричать: «Сетрова поваром!»

Другим запомнившимся и несколько смешным случаем было то, что нас попросили погрузить в кузова машин приготовленных для сдачи бычков. Бычки подниматься не хотели, упрямились (кому же интересно ехать на бойню). Тут выступил большой выпендрёжник мой друг Генка Суходольский, заявив, что знает, как их погрузить, и стал упиравшемуся на помосте бычку крутить хвост. Тот сопротивлялся своим методом, и окатил бедного Гену мощной струёй, который весь оказался в жидком помёте. Мне было смешно и жаль горделивого Гену, хотя вокруг все не столько

сочувствовали, сколько смеялись. Он, между прочим, сделал хорошую карьеру, став деканом психологического факультета, перейдя с биологического цикла на моё место в психологический. И не без его инициативы в университете был организован этот факультет.

Мне, конечно, запомнился случай, когда меня неожиданно поддержал весь курс. Это было при чтении женщины-доцентом экономического факультета (этот факультет закончил и В. В. Путин) курса социалистической политэкономии. Её лекции, воспользовавшись свободным расписанием, я не посещал, и, видимо, потому она мне поставила на экзамене двойку. Узнав это, мои товарищи возмутились и всем курсом (сорок человек) пошли на экономический факультет (он был рядом по тому же коридору) к доценту и потребовали у неё изменить оценку, заявив, что «Сетров политэкономию лучше нас знает». Откуда такая уверенность? Вероятно, сыграл роль тот случай, когда на лекции по капиталистической политэкономии преподаватель задал аудитории вопрос: как, кроме известного способа, усилить эксплуатацию путём понижения зарплаты? Все молчали. Но тут поднял руку я и сказал, что это можно сделать, интенсифицировав труд при той же зарплате. Преподаватель с некоторым удивлением посмотрел на меня и сказал, обращаясь к аудитории: «А вы говорите, что среди вас нет Тяпкиных-Ляпкиных!» Это признание в ёрнической форме меня даже обидело. Однако мои сокурсники всё правильно поняли – и отсюда их мнение об уровне моего знания политэкономии.

Ещё запомнившимся событием такого рода был экзамен на биофаке по генетике. У нас в генетике тогда шла теоретическая, переходящая в политическую и даже отчасти экономическую, борьба так называемой лысенковщины с «вейсманизмом-морганизмом». Последователи селекционера из Одессы Лысенко считались дарвинистами, а их противники антидарвинистами. Наши идеологи-дарвинисты стояли на стороне Лысенко, утверждавшего, что развитие живого осуществляется в результате воздействия на организм внешней среды путём отбора средой наиболее жизнеспособных, наследственно закреплённых их полезных свойств, передаваемых тем самым их потомкам. Морганисты-вейсманисты утверждали, что не внешняя среда определяет развитие живого, а внутренний мутационный процесс: полезные, наследственно закреплённые мутации изменяют организм, делая его более жизнеспособным. А организмы с вредными мутациями отмирают. Так, дескать, и идёт процесс развития. У нас «теоретически» преобладала лысенковщина, поскольку этого деятеля поддерживало партийное руководство,

считая его более полезным для сельского хозяйства и будто бы более близким марксизму. На самом деле позиция Лысенко была далеко от марксизма, и его он не понимал, а употребление марксистских терминов было популистски-демагогическим. Политическая поддержка Лысенко привела к тому, что реальная генетика в вузах не развивалась. Но, похоже, существовали в верхах и некоторые сомнения в отношении позиции Лысенко, и потому два университета, где преобладал на биофаках морганизм-вейсманизм, в стране имелись: это Свердловский и Ленинградский университеты. Причём на биофаке Ленинградского университета была и своя специфическая теория «номогенеза» профессора Льва Берга. Главная суть теории в том, что развитием живого управляют его внутренние законы.

Во время моего пребывания в университете Льва Берга уже не было в живых, а кафедрой генетики заведовала его дочь Раиса Львовна Берг, исповедовавшая теорию отца. Раиса Львовна встретила меня на экзамене вопросом, являюсь ли я сторонником Лысенко. Я ответил, что я не лысенкоист и не морганист. «А кто же вы?» – «Я марксист, диалектик, а обе крайние позиции в генетике считаю односторонними и потому не верными». – «А что же, по-вашему, верно?» – «Верно здесь единство противоположностей – внешней и внутренней среды». И я стал Раисе Львовне задавать каверзные вопросы, на некоторые из них она, не ответив, просто промолчала. Моя экзаменатор явно была расстроена и, поставив мне пятёрку, отпустила «с богом».

Мой интерес к теории организации начинался с системы уровней организации живого, и тут мне для сдачи экзамена по немецкому языку попалась книга на немецком языке австрийского биолога Людвига фон Берталанфи «Биологическая картина мира». Я её с трудом перевёл, и меня заинтересовало то, что в ней оказались некие основы общей теории систем, её основные принципы, о чём пишет автор. Но я обнаружил и то, что здесь нет ничего нового, кроме идеи системности живого и мира в целом, поскольку предлагаемые Берталанфи принципы «системности» давно сформулированы в биологии и философии. Более того, найдя в библиотеке Академии наук книгу А. Богданова «Организационная наука тектология», я нашёл, что подобные принципы используются и Богдановым, как основа тектологии, но только механистично и иначе выраженные. Более того, оказалось, что и принцип «обратной связи», являющийся теоретической основой провозглашённой Норбертом Винером кибернетики, как теории управления «в механизмах и в живом», есть и у Богданова, только иначе названный – «бирегулятор», т. е. двойной регулятор. А само понятие «обратная связь» тоже, как и

тектология с её бирегулятором, существовало ещё в начале двадцатого века. Так что Винер в этом плане ничего нового не придумал, кроме названия теории регулирования – «кибернетика» (от греческого слова «кибер» – рулевой). В этом заслуга Винера очевидна. А то, что у нас, как и на Западе, значение его книги «Кибернетика» было раздуто до небес (там было название предполагаемой науки, а самой науки не было), определялось нашим пошлым западничеством, пренебрегающим собственными ценностями и успехами. Это обнаруживается и в отношении у нас к книге Богданова, её критика и неприятие, хотя там были и причины, как идеологического характера, так и просто невежество критиков. А. А. Богданов (настоящая фамилия Малиновский) являлся соратником Ленина по партии, членом ЦК, но был исключён из партии за «отзовизм». Он оказался «левее» Ленина и требовал отозвать из Думы большевистскую фракцию, считая недостойным для большевиков участвовать в этом шабаше. Будучи отстранённым от политики и будучи в душе учёным, по гражданской профессии врачом, он решил посвятить себя науке, а, занимаясь в ЦК организационной работой, стал разрабатывать организационную науку, которую и назвал тектологией (от латинского «строить»). После революции он, как врач, создал в Москве первый в мире институт переливания крови, позволивший во время Великой Отечественной войны нашей медицине спасти и поставить в строй тысячи бойцов. С его живым ещё сыном профессором-биологом Малиновским я встречался в Москве, он много чего рассказал о своём отце.

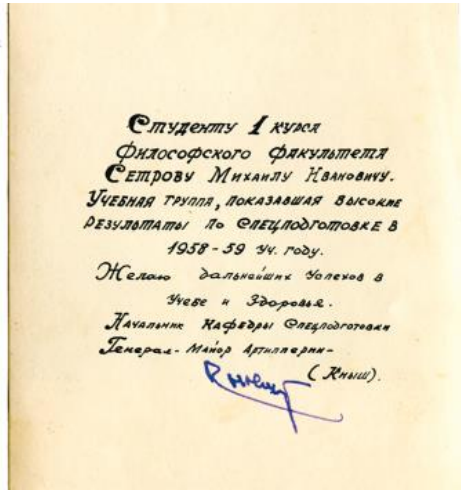
В своей дипломной работе я столкнул три теории: тектологию, кибернетику и «общую теорию систем», показав как их общность, так и различие. А также то, что ни в «кибернетике», ни в «теории систем» нет ничего существенно нового – они повторяют, только иными словами, то, что изложено в тектологии полвека назад. Руководитель моей дипломной работы Кирилл Михайлович Завадский, будучи болен, её не читал, но с основными идеями был знаком по курсовой работе. Он тогда сказал: «Хорошо, но мало». Я отшутился: «Хорошего понемножку».

Северо-Енисейск и охотничьи приключения

На семейном «фронте», конечно, тоже были проблемы. На Лермонтовском жить было тесно, да и Пётр Тимофеевич иногда дурил и по пьяни часто ругался с матерью, ревнуя её. Я ругал его за это: дескать, в вашем возрасте на этой почве не стоило бы ссориться. А он: «Ничего ты не понимаешь в семейной жизни». Переехали жить к тёще на Лесной проспект, но и там тоже было тесно и даже более шумно: живший здесь же другой зять ссорился с тёщей и со своей женой, старшей дочерью Елизаветы Давыдовны. Ещё две их маленьких дочери вечно капризничали и тоже ссорились. Мне, студенту со свободным расписанием, днём заниматься было невозможно, и я работал ночью, когда все затихали в постелях. Университетская газета в статье «Чудак» (обо мне, философе, занимающимся селекцией ячменя) писала, что в доме на Лесном проспекте всю ночь горит огонёк – это занимается наш чудак.

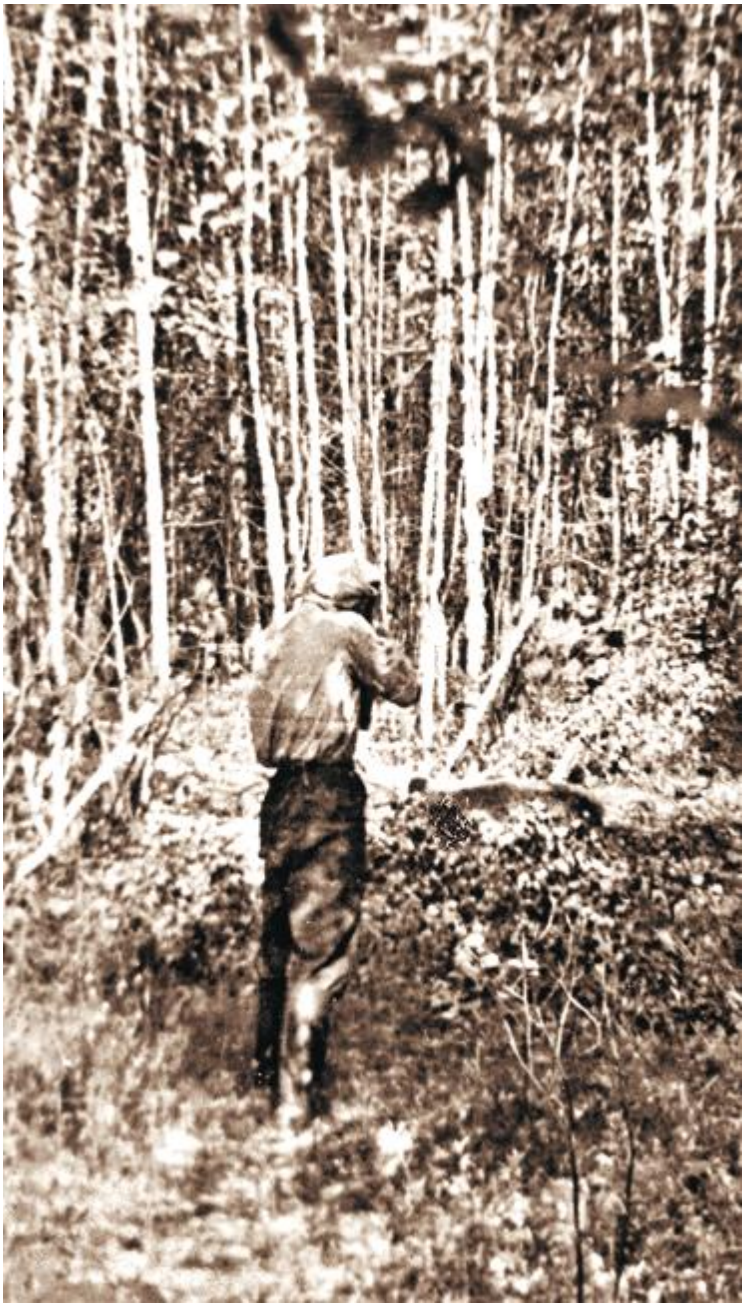
Студент

Мои товарищи по курсу

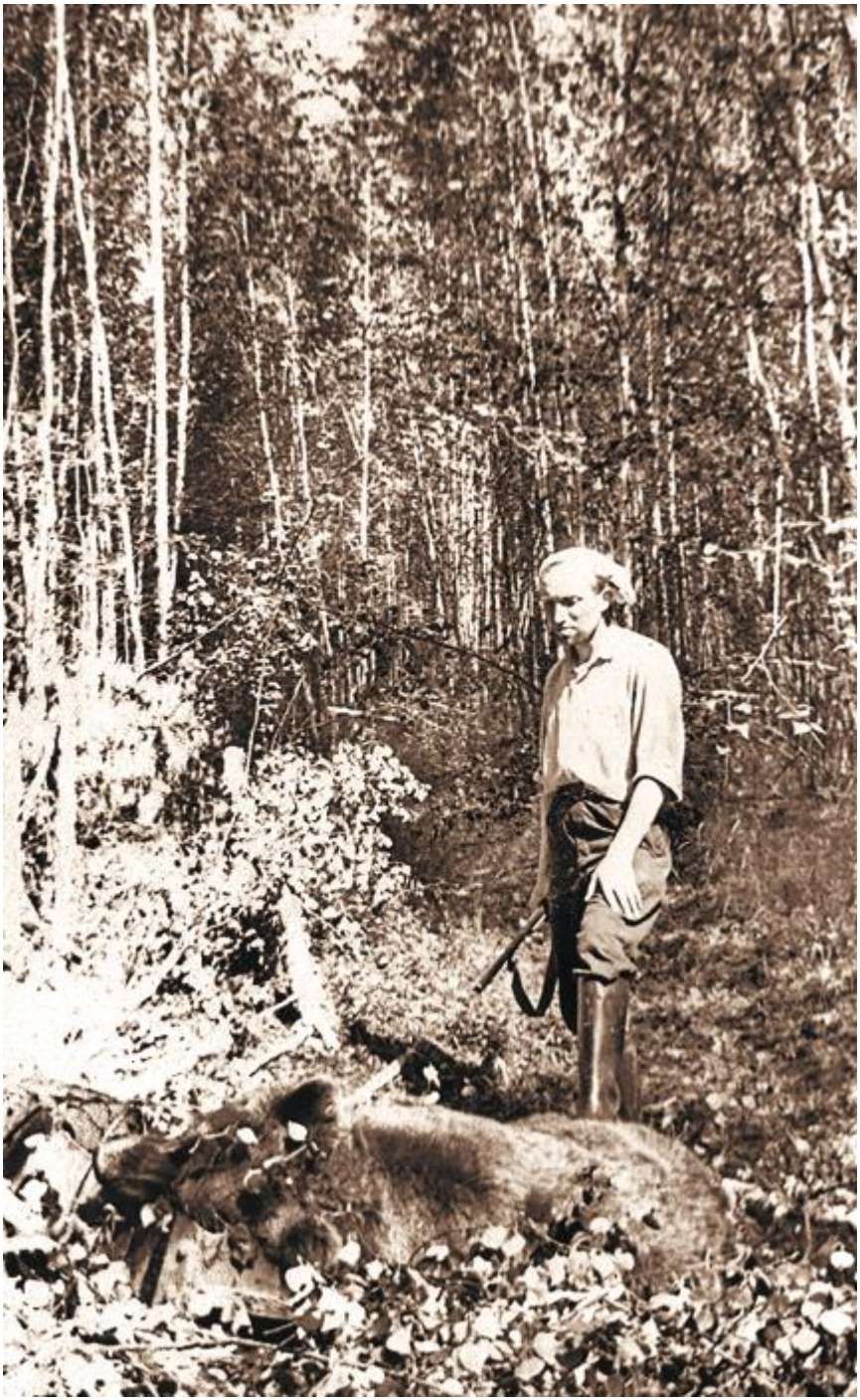


Студенту 1 курса
Философского факультета
Сетрову Михаилу Ивановичу.
Учебная группа, показавшая высокие
результаты по спецподготовке в
1958-59 уч. году.
Желаю дальнейших успехов в
учебе и здоровья.
Начальник кафедры спецподготовки
Генерал-Майор Артиллерии-
(Жилин).

Над рекой Еношему



Увлёкшись грызнёй, медведь меня не слышит, пришлось окликнуть…



И всё же убитого жаль

И тут событие – у нас родился сын, которого я назвал Всеволодом, Севой. Пришлось на лето искать более

оплачиваемую работу. Нашёл работу в знакомом мне геофизическом тресте, в экспедиции аж в Северо-Енисейске, куда и дороги нет, как в песне – «только самолётом можно долететь», и это буквально. До Красноярска ехал поездом, а там нашим Илом, способным садиться на грунтовый аэродром. В общем, ехал в тайгу, с ружьём, которое действительно пригодилось. Экспедиция занималась магнитосъёмкой с самолёта. Это были наши «Аннушки» – АН–2. Я не летал, а работал в фотолаборатории, проявляя отснятую на самолёте плёнку.

Золотопромышленный городок был небольшой, но благоустроенный и хорошо снабжался; здесь не было на некоторые продукты дефицита, который возник в городах нашей европейской территории после хрущёвских «новаций». Проблемой жителей была ситуация с городским кладбищем: из-за того, что под ним выбирали золотоносную породу, оно стало проваливаться.

На картах здешней местности, которые у нас были, я в километрах десяти от городка, недалеко от протекавшей мимо Северо-Енисейска реки Енашимо, увидел большое озеро и решил в выходной к нему сходить. Со мной напросилась работающая с нами тоже студентка нашего университета Галя Политико. Я люблю ходить в лес один. Но у Гали был фотоаппарат, и я согласился. Мы шли с ней по заросшей дороге золотодобытчиков (река была золотоносной, и на ней работала, только ниже, драга). Берег реки был крутой, скалистый, внизу валами лежала отработанная драгами порода. Дело было 15 сентября, но ещё было жарко и хотелось искупаться в реке, но из-за крутизны берега она была недоступна. Мы прошли вдоль берега километров пять, и тут на дороге увидели лежащего к нам спиной медведя. Он что-то грыз: было видно, как движется его ухо. Что делать? К озеру, минуя медведя, было не пройти: слева обрывистый берег, справа скалы, поросшие кустами. Возвращаться в город, не достигнув цели, нам не хотелось, да нас бы и высмеяли – с ружьём медведя испугались. Решили немного возвратиться назад и переночевать у ручейка, стекавшего к реке, – вероятно, медведь уйдёт. Я пристрелял на всякий случай ружьё, пугая к тому же медведя, если он вздумает пойти по нашим следам. Потом я построил шалаш. Уже когда стемнело, напившись вскипячённого на костре чая и подкинув в огонь побольше дров, легли на хвойной постели спать, прижавшись друг к другу, но без всяких «глупостей». Утром, проснувшись, снова напились чая, перекусили «чем бог послал» и двинулись в сторону озера. Подойдя к месту, где вчера лежал медведь, увидели его там же и в той же «позе», и он опять что-то грыз. Я

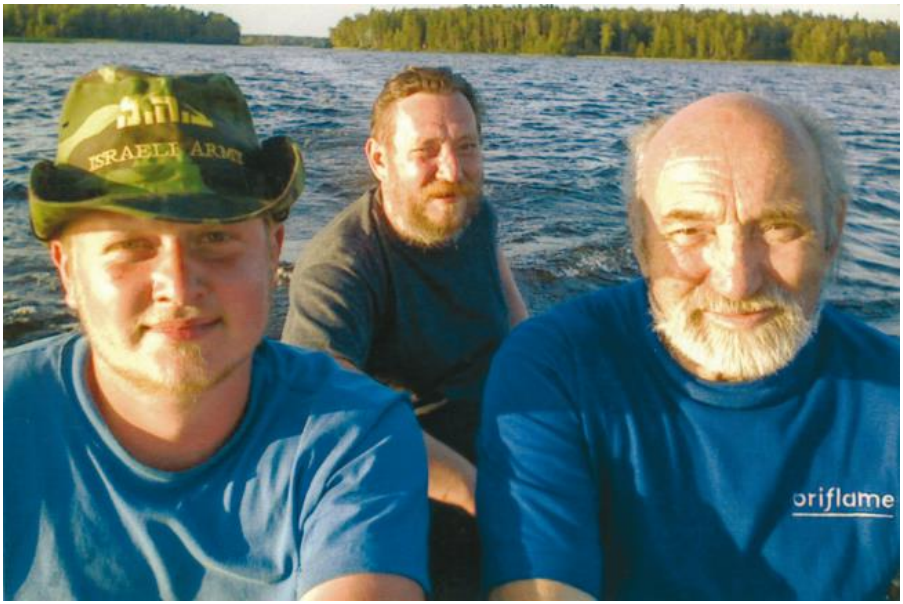
предложил Гале уйти к шалашу, но она испуганно возразила: «Я боюсь, нет, я с тобой!» – «Ладно, помирать – так вместе. Подойду ближе, а ты стой здесь и фотографируй».

Увлечённый грызнёй, медведь меня не слышал. Я подошёл уже на расстояние метров в двадцать, а он всё лежит и не слышит опасности. Тогда я крикнул: «Эй, что лежишь!» (В спину стрелять нельзя, можно только поранить.) Медведь вздрогнул и, как пьяный мужик, стал поворачиваться, медленно подымаясь. Я ружьём следил за ним и, когда он уже почти поднялся, выстрелил. У меня была одностволка, а порох дымный. Сквозь рассеивающийся дым я увидел, как медведь грузно осел и завалился ко мне опять спиной. Подошёл ближе – он ещё дышал. Перезарядив ружьё, выстрелил ему в голову, и он затих. Мне было печально смотреть на убитого, но была и эйфория победы – здесь ведь кто кого, и никакой пощады. Да и азарт охотника был, иначе бы я, вероятно, на него и не пошёл. Галя фотографировала меня у туши медведя в «победных» позах, да и я её тоже. Возникла проблема: что делать с тушей медведя. Был туристский топорик, а нож только перочинный, так что шкуру снять было невозможно. Начал «свежевать» медведя топориком, отрубив окорока ног. Это было трудно, потому что они были густо шерстисты, особенно его «штаны», а кости такие крепкие, что мой топорик быстро искрошился. Отнести всё добытое нам было невозможно, так что три окорока я положил в холодную воду ближайшего ручья, один в рюкзаке понёс я, а огромную печень и сердце понесла Галя. Ноша была тяжёлой, стояла жара, и идти было трудно – мы часто отдыхали у ручьёв. Пришли к становищу только к вечеру, и идти за остальным мясом было поздно. Окорок и печень отдал ребятам, а сердце попросил сохранить для меня – его должен был съесть охотник, чтобы быть таким же смелым и сильным, как медведь.

Утром, испросив у геологов подводу с возницей, отправились за остальным. Ехали с приключениями, потому что дважды пришлось переезжать речку, а лошадь, не достав ногами дна, плыла вместе с телегой по течению, но когда обнаруживала дно, то выходила с телегой на берег. Хорошо, что лошадь была местной, опытной в таких ситуациях. Туша оказалась стухшей от жары, но окорока в холодной воде сохранились свежими. Вернулись уже вечером с теми же приключениями. Один окорок за их транспорт отдал геологам, остальные потребили мы, геофизики. Но переусердствовав на медвежатине, геофизики долго страдали животами. Однако в тресте, узнав, что я накормил экспедицию свежим мясом (ведь питались в основном консервами), выписали мне приличную премию. Приближалось

время учёбы, а в экспедиции просили поработать до конца сезона. Я послал свою фотографию около убитого медведя с гордо поднятым ружьём и заявление о продлении моей работы в экспедиции. Говорят, что фотография в университете произвела фурор: она на философском и биологическом факультетах переходила из рук в руки. Даже в университетской газете была статья по этому поводу. Остаться на работе мне разрешили.

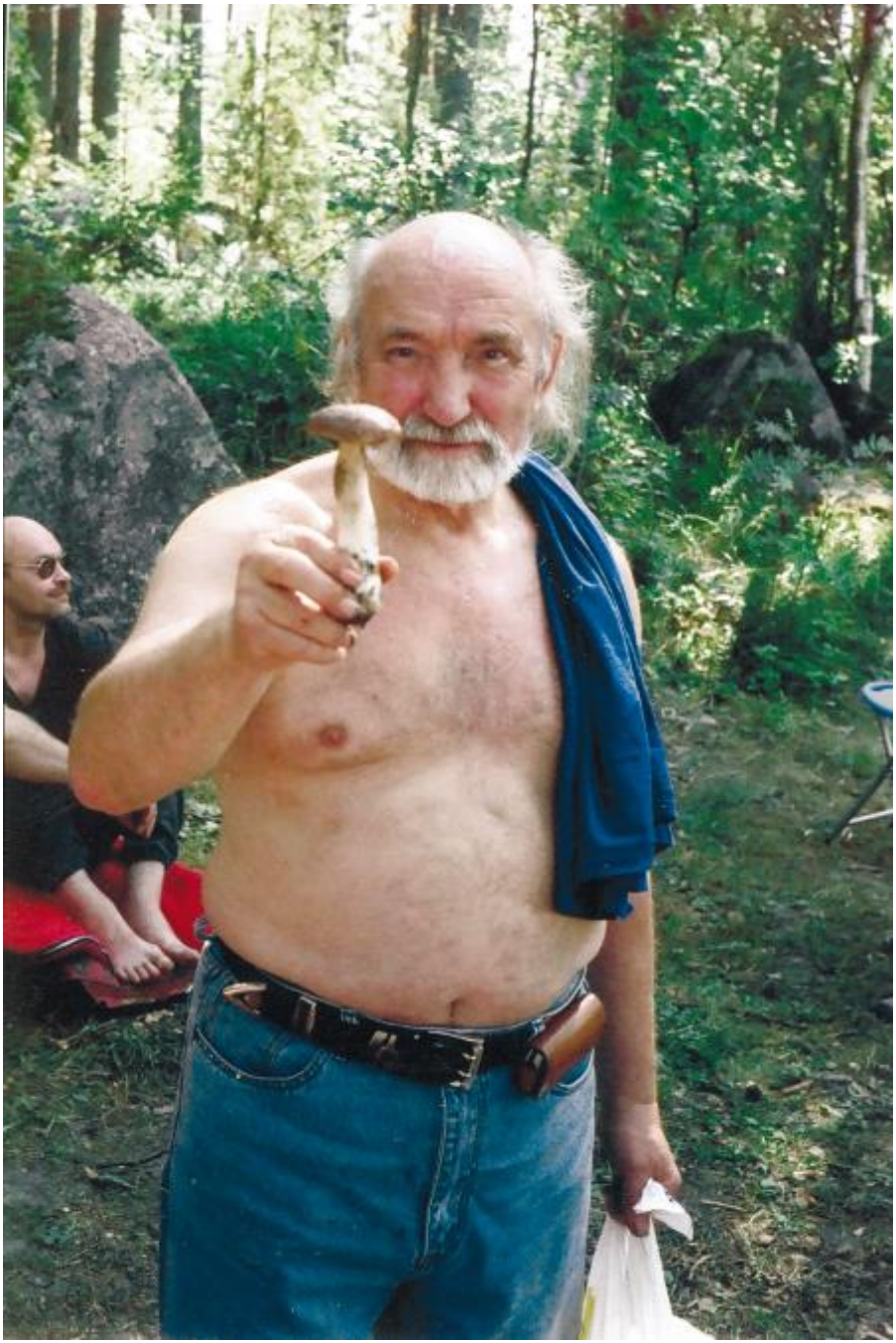
Рыбак Порьей Губы дед Семен. Я у него жил и с ним рыбачил…



Внук Игорь, Сева и я на Вуоксе

Закат

Муж Марины, сестры Светы, Леня с дочерью Дашей

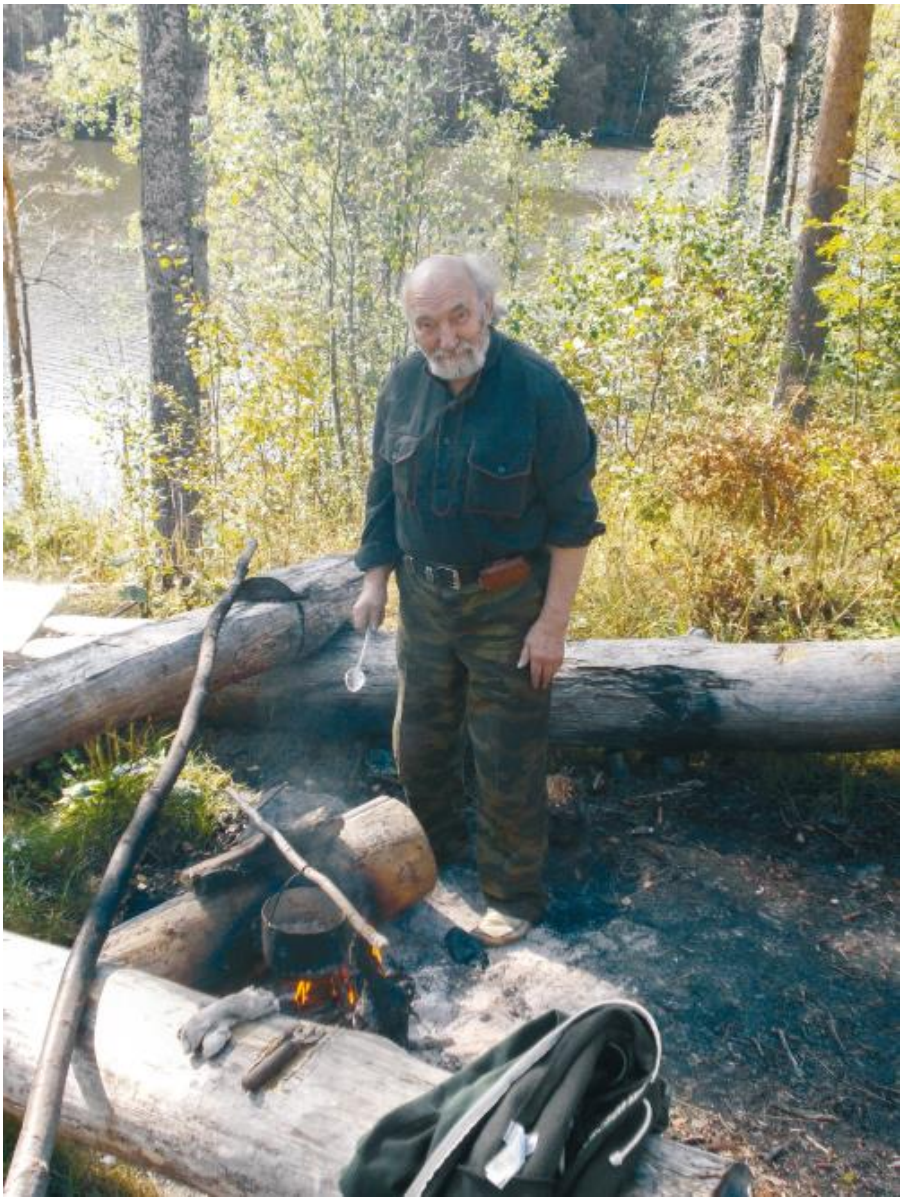


В засуху я нашел грибы!

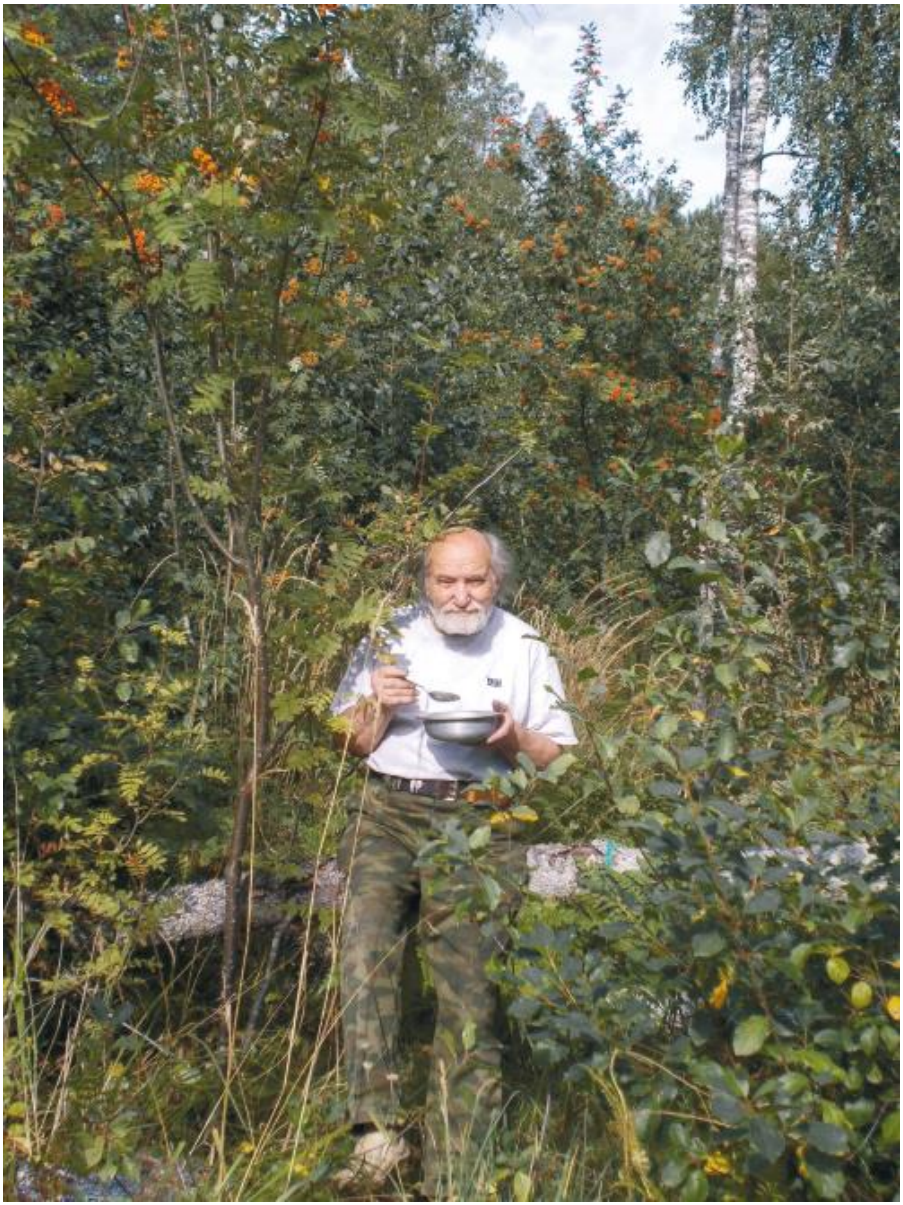
Света и Сева

Мои деверь Олег Николаевич, мои внуки и их двоюродные сёстры

Олег с первой щукой на спиннинг



Обед с миской на стволе белой берёзы. 2020 г.



Готовлю обед

Света кайфует

Сестра Светы, Марина с дочерями на Вуоксе

Осенью, когда похолодало, я уже один пошёл на озеро. Оно было в двух километрах от Енашимо, и к нему от брода через реку вела довольно наезженная дорога – видимо, на озеро приезжали ловить рыбу. Сейчас озеро было пустынно, но на нём было много птиц – уток и чаек. Добыв трёх уток, одну из них зажарил на костре и, хорошо пообедав, отправился обратно, но уже через брод по дороге, желая выяснить, куда же она идёт. Я зашёл в домик, стоявший на берегу за бродом, и разговорился с хозяином, живущим здесь старым охотником. Он рассказал, что нашёл останки кем-то убитого медведя, а я объяснил, что это сделано мной просто случайно, по необходимости. Он много чего рассказал о здешних местах и чем промышляет. Остался у него на ночь, продав ему ружьё, поскольку решил в Питере купить двустволку. Утром пристроился на проходящую машину, шедшую в посёлок Тея. В Тее, стоявшей на берегу одноименной реки, куда впадала Енашимо, сел на автобус и таким способом вернулся на «базу», уже без ружья, но с двумя добытыми утками. В лесу, совсем недалеко от посёлка, было много крупной (крупнее нашей садовой) чёрной смородины. Купив семилитровый бидон, заполнил его смородиной, засыпав сахаром, чтоб не скисла. И даже насушил грибов, которых здесь была пропасть. Домой вернулся только в конце ноября, нагруженный смородиной в сахаре, дефицитным рисом и сушёными грибами, ну и, конечно, с

деньгами. Мой сын за полгода подрос, но был ещё грудным и требовал много заботы.

Аспирантура

Пропущенные занятия я быстро наверстал, написав и курсовые работы. К концу четвёртого курса стал готовиться к дипломной работе и быстро её написал. Кирилл Михайлович, мой руководитель, её так и не прочитал, будучи серьёзно болен. Но моя дипломная работа на конкурсе в Москве получила золотую медаль как лучшая дипломная по философии за 1963 год. Поэтому я оказался «богатой невестой нарасхват». Деканат предложил мне поступить в аспирантуру, но такое же предложение последовало и от Ленинградской кафедры философии Академии наук СССР. Причём вышел серьёзный спор между этими двумя учебными учреждениями в лице Кирилла Михайловича, настаивавшего, чтобы я поступал в аспирантуру филфака, а его бывший ученик, доцент Ленинградской кафедры философии Мамзин, убеждал меня идти к ним, чтобы он стал моим руководителем. Говорят, что они на этой почве поссорились. Мамзина я не знал, а Завадский для меня был серьёзным и уважаемым человеком. Но Ленинградская кафедра, как самостоятельное учреждение, да ещё принадлежавшее Академии наук СССР, была престижнее филфака университета, да и перспектив там у меня было больше, в том числе в публикации работ. Я ведь на этой кафедре оказывался единственным аспирантом. И мной было выбрано академическое учреждение, а вовсе не неизвестный мне как учёный Мамзин. Заведовал тогда Ленинградской кафедрой философии, которая осуществляла подготовку и принимала кандидатский экзамен по философии у аспирантов академических учреждений Ленинграда, доктор философских наук профессор Харчев. Темой его работ была семья и брак. Поэтому у него был аспирант, а потом и сотрудник по фамилии Голод, занимавшийся проблемой секса, которого смешно называли: сексуальный Голод.

Алексей Сергеевич Мамзин мало чем мог помочь мне в подготовке диссертации, но, что для меня было странно, стал почему-то тормозить её. Это обнаруживалось при обсуждении моих работ на заседании кафедры, так что меня вынуждены были защищать два других доцента – Марат Николаевич Перфильев и Евгений Фролович Солопов. Мамзин ввиду близости тем наших работ просто меня здесь ревновал. Это тогда мне казалось очень странным, но позже я убедился, что эта ревность при близости тем в науке – дело обычное, и оно позже на мне сказывалось постоянно. Философия тогда, как идеологическая наука, была делом партийным, и кафедры философии в вузах считались

партийными. Поэтому профессор Харчев предложил мне, тогда ещё комсомольцу, вступить в партию. Но у меня с партийной комиссией Василеостровского райкома вышла ссора, и меня тогда не приняли.

Дело в том, что при вступлении в партию нужно было её Устав и Программу выучить наизусть. На что, при моей плохой формальной памяти (она у меня ассоциативная, логическая, а не формальная, для меня важна не форма, а содержание, суть), я был не способен. Харчев обратился к академику Быховскому, начальнику Ленинградского отделения Академии наук СССР, члену Василеостровского райкома партии, помочь в этом кляузном деле. И тот, в общем-то, помог, поскольку, несмотря на новую ссору с дедами, заседавшими в комиссии, меня в партию приняли. Деды приставали ко мне с вопросом: почему я, будучи рабочим, тогда не вступил в партию? Я ответил стандартно, что тогда, дескать, не считал себя достойным. А тут кто-то из них вякнул: «Да какой он рабочий!» Я вышел из себя: «Ах так!» и повернулся, чтобы уйти. Но тут встал председатель комиссии и сказал: «Тихо! Задавать вопросы легче, чем отвечать. Мы, товарищ Сетров, принимаем вас в члены КПСС!»

Этот кляузный случай потом сказался на моей работе: после окончания аспирантуры и определения места моей работы Харчев сказал на заседании кафедры: «Мы его готовили для кафедры, но если он не смог сговориться с партийной комиссией, то пусть поработает в другом месте». И я был направлен старшим преподавателем в Северо-Западный заочный политехнический институт на кафедру философии и научного коммунизма.

В период моей аспирантуры я вёл преподавательскую работу в различных вузах и на самой нашей кафедре, проводя семинарские занятия по философии. Однажды мне позвонил из института Бонч-Бруевича знакомый по его книге Серафим Тимофеевич Мелюхин, позже ставший деканом философского факультета МГУ, а тогда заведующий кафедрой философии этого института. Он просил срочно приехать в институт и провести семинарское занятие со студентами, поскольку их преподаватель заболел. Когда я приехал, он буквально схватил меня за руку и потащил в аудиторию, где сидели студенты. «Вот, займи их!» Я не знал темы занятия и, конечно, не готовился к нему. Но пришлось их «занимать». Тему я узнал и стал студентам задавать острые вопросы – дело пошло, возникали дискуссии, студентам было интересно. После занятий Серафим Тимофеевич предложил мне продолжить работу у них, и я у него долго вёл семинары. А однажды, когда я с семьёй летом отдыхал на карельском перешейке в Мельиково и шёл к остановке автобуса, около меня

остановился мотоцикл. Это оказался Серафим Тимофеевич, который тоже отдыхал здесь. Он предложил подвезти, и мы доехали до станции Меллюпельто, куда и мне было нужно. А уже через несколько лет он будет оппонентом по защите моей докторской диссертации.

В летние каникулы я обычно выбирал месяц, который был «мой», и окунался в природу с палаткой, надувной лодкой и велосипедом. Для этих целей купил ещё щенком лайку, имевшую инстинкт медвежатницы, пса назвал Анчаром. С трёх месяцев он уже был всегда со мной и ещё в щенячьем возрасте проявил характер зверовой собаки. Здесь для меня примечательны два случая.

Однажды мы шли по старой финской дороге, обогнув большое озеро Покровское, где я иногда рыбачил, в сторону уже недалёкой границы. Слева от дороги показалось большое заболоченное поле с редкими сосенками. Мой четырёхмесячный Анчар дёрнулся и с истеричным лаем, переходящим в визг, помчался по полю, на краю которого пасся лось. Пёсик носился около него, пока с визгом, хромая, не прибежал обратно: видимо, лось его задел копытом. Хорошо, что не в голову… (Удар лося копытом страшен: здесь мы встретили лося, на передней ноге которого была шкура убитого волка.)

Мне подумалось, что он больше за таким зверем не пойдёт, но не тут-то было: позже он снова ввязался в опасную авантюру, подставив даже меня. Там же, только у озера Семиостровье, в леске, на краю заросшего болота, паслось небольшое стадо нетелей и бычков. Мы шли мимо, и тут Анчар накинулся на одну из нетелей, видимо приняв за лося. Молодые коровы и бычки сперва на него не обращали внимание. Но тут одна дико взвыла – видимо, Анчар её укусил, и тогда заревело всё стадо и двинулось на нас. Со мной была двустволка «тулка», и я выстрелил – стадо остановилось, но потом опять двинулось на нас, обходя меня, и одна старалась придавливать Анчара рогами. Перезаряжать ружьё было некогда, и я ударил корову ружьём – ружьё пополам! Корова, заревев, отскочила, а тут я увидел, что взрослый могучий бык, раздвигая стадо, с рёвом идёт на нас. «Анчар, спасаемся!» – крикнул я и побежал через болото, пёс за мной. Но и бык, разбрасывая рогами упавшие сосенки, шёл за нами. Мы отбежали далеко, и он, ещё ревя, остановился. Вот в такое опасное приключение вверг меня мой маленький пёсик своим звериным инстинктом. Уже выросший Анчар у меня на даче в Сосновке, где зимой я снимал домик с печкой, занимаясь в тиши диссертацией, куда-то ушёл и пропал. Долго я ходил по Сосновке (по-фински Райвола), звал его, но бесполезно. Я так переживал!

Однажды ностальгия по Северу меня позвала на Терский берег Белого моря. И я ближе к осени с вновь купленным ружьём, палаткой и рыболовецкими снастями отправился туда, где мы когда-то работали в экспедиции. Да и образ любимой Оли не совсем угас. Тогда вдоль Терского берега ходил пароход Кандалакша – Варзуга с остановкой у рыболовецкого колхоза Порья Губа. Недалеко от колхоза вглубь берега врезался длинный (около 8 км) залив, по местному тоже губа, в конце которой когда-то стояли наши палатки, куда я и стремился. Пристани у Порьей Губы не было, высаживались в подогнанную лодку. Что и я сделал вместе с другими пассажирами. Губа не случайно называлась Порьей. Это фактически была не губа, а залив, в котором было много небольших островков. Попутчиков стал выспрашивать, где бы здесь остановиться на ночь и зафрахтовать моторную лодку. Мне указали на рыбака Семёна, живущего недалеко, прямо на берегу моря. И действительно, как в сказке Пушкина, он со своей старухой жил в небольшой избушке на берегу уже открытого моря, только моря не синего, а Белого. Он согласился за умеренную плату отвезти меня в требуемое место.

Утром мы поплыли в его «моторке» и через несколько часов были на месте. Я попросил его приплыть за мной через неделю. Хотелось всё облазить, да и поохотиться тоже. Основой питания для меня оказалась рыба. Старик рассказал, что недалеко от вершины губы вверх и влево есть озёра: большое озеро, называемое Щучьим, в нём только щуки, а в маленьких болотистых с тёмной водой – только чёрные окуни. Меня это «только» заинтересовало.

Я читал о биоценозах, биологических сообществах, где обитает только один вид хищников и никаких других, близких им видов: они уничтожены этими хищниками. А сами хищники теперь живут, поедая друг друга. Биологи называют такие сообщества моновидовыми каннибалистическими сообществами хищников. Утром я отправился в сторону Щучьего озера по указанному дедом Семёном направлению.

В километре от берега я на заросшем болотце увидел большую кучу свежесломанных веток и очень удивился – ведь вокруг здесь не было никого. Подойдя ближе, мне стало ясно, что это медведь завалил ветками убитого лося. У меня по спине пробежал холодок, и я приготовил ружьё – ведь медведь был где-то поблизости. Пошёл дальше, взяв ружьё наизготовку, но медведя не встретил и вскоре увидел большое озеро – другой берег его даже плохо просматривался. Забросил спиннингом блесну и едва устоял – спиннинг с силой рвануло: блесну схватила огромная щука. Она, конечно, сильно сопротивлялась, и

я с большим трудом вытащил её на берег. Она была весом килограммов восемь. Для меня одного этого слишком много. Уже для потехи снова забросил блесну – и опять её тут же схватили. Щука была поменьше – килограмма три. Ещё трепетавшую на берегу большую щуку столкнул в воду, а вторую, «усыпив», положил в рюкзак – было достаточно и этой. Быстро пошёл обратно, потому что уже темнело, взяв ружьё наизготовку. У медвежьей кучи дважды выстрелил в воздух, предупреждая нападение «хозяина». На берегу у палатки развёл большой костёр, сварил рыбу, вскипятил чай и, поужинав, лёг спать. Утром, к своему ужасу (воображение-то работало), обнаружил у палатки и костра следы медведя. Он меня не поломал (а такие случаи здесь были), вероятно, потому, что зверь был сыт лосиной. Теперь стал поддерживать всю ночь большой костёр, отсыпаясь днём.

Ожидая своего «перевозчика», я всё вокруг облазил в поисках следов нашего давнего пребывания здесь и кое-что нашёл, например, бывшую бревенчатую пристань, развалины бани и даже остатки сруба моей палатки (палатки ставились на небольшой сруб). Ходил на малые озёра ловить больших чёрных окуней – окунь был вкуснее щуки. Рыб другой породы в этих озерках, действительно, не было. Перед предполагаемым приездом деда Семёна наловил окуней килограммов пять, чем вовремя прибывший Семён был очень доволен. Доволен он был и тем, что я оказался вовсе не рыбинспектором, как он предполагал. И я остался у него ещё на неделю. Мы с ним на удочку ловили рыбу пикшу: в воде она была золотого цвета, так что жившему «у самого Белого моря» деду действительно попадались «золотые» рыбки, но они ничего, кроме сытного обеда, ему не обещали. Семён почему-то чаще вытаскивал золотых рыбок, чем я, хотя наживка и удочки были одинаковыми, – сказывался опыт рыболова. Иногда я ходил на охоту, приносил глухарей, однажды зайца, так что мясом, рыбой и даже красной икрой мы были обеспечены. Дело в том, что дед Семён использовал для ловли лососёвых не удочку, а сеть для кумжи. Сейчас нам попадалась в сеть только кумжа, рыба крупная, но маложирная, зато у неё было много красной икры. Водившаяся здесь сёмга попадалась лишь иногда, будучи теперь очень редкой. Но икры я тогда наелся «на всю оставшуюся жизнь». Давали собакам, но они сырую икру не ели, отваренную немного поели и отошли. Холодильника, да и электричества у них не было, так что сохранить икру для дома было невозможно. Зато дед нагрузил меня солёной кумжей, а потом, поймав две сёмги, одну, засолив каким-то сёмужным посолом, отдал мне в дорогу.

В семье у нас тоже произошли большие перемены. Умерла

ещё молодой старшая дочь Елизаветы Давыдовны, ветеран обороны Ленинграда, – она была зенитчицей, охраняя ленинградское небо. Её муж, бывший офицер, комиссованный по болезни, остался с двумя дочерями, страдая болезнью лёгких. Отчасти поэтому нам дали отдельные квартиры: ему с дочерями двухкомнатную. Правда, тёща младшую его дочь Наташу в качестве попечительницы взяла к себе, и нам на пятерых выделили трёхкомнатную квартиру в доме на Гранитной улице, на втором этаже «хрущёвки». Подросшая Наташа закончила медицинское училище и стала медсестрой.

Ввиду этого у нас возникла некоторая коллизия с ней и тёщей: мне позвонил милиционер, наш «квартальный». Зная меня как профессора, он сообщил, что член моей семьи уличена в манипуляции с наркотиками, ей грозит увольнение и суровое наказание, спрашивал, как быть. Я попросил его дело попридержать, обещая, что Наташа из его «квартала» исчезнет, мы быстро разменяемся жильём. Разменяться давно хотел, не желая жить со склочной тёщей, но она отказывалась, считая себя в квартире хозяйкой. А тут такое основание, так что теперь она сама стала торопить размен. Разменяли удачно: они получили большую комнату с балконом с видом на Неву в «сталинском» доме, в малонаселённой квартире – ещё лишь два жильца. А нам досталась двухкомнатная квартира ЖСК на проспекте Науки. Квартира ещё была полностью не выплачена по кредиту, но выплаты по нему были незначительны, так что мы их просто не замечали. Люба закончила в библиотечном институте курсы и пошла библиотекарем в какой-то институт. А позже – курсы машинисток, и стала работать на нашей кафедре машинисткой. Моя приёмная мать Ольга Фёдоровна умерла буквально у меня на руках от рака горла. Это была их наследственная родовая болезнь: от неё умер двоюродный брат Ольги, наш с Геной любимый дядя Матвей, сам Гена и его старшая сестра Дина.

Читаю лекции аспирантам, 1969 г.

Мои друзья и соратники. Е. Ф. Солопов, его жена Ира, Люба и наши дети. На озере Красавица

На 13-м международном конгрессе по истории науки в Москве

Заседание приёмной комиссии ленинградской кафедры философии

Я со студентами

Мать умирала тяжело. Она жила одна (Пётр Тимофеевич уехал в Псков к дочери и там умер). Сперва за ней ухаживала её верная подруга, ещё с довоенных времён, тётя Феня. А потом, увидев уж совсем тяжёлое состояние больной, я поблагодарил тётю Феню и стал ухаживать за умирающей сам, и так целый месяц. Похоронил мать на Северном кладбище, что рядом с Парголовым, отпев, как она просила, в Никольском соборе. Мы с Севой часто ездили на кладбище обустраивать могилу. В годовщину смерти мы со знакомыми и родственниками умершей были на кладбище, где на могиле вместо временного креста стоял уже мраморный памятник. Приехавшим почтить память умершей родным и знакомым подарил по экземпляру своей главной, только что опубликованной, книги с посвящением своей приёмной матери.

Доцент, заведующий кафедрой, профессор

В Заочном институте я проработал недолго и сразу же, после моей защиты кандидатской диссертации, был переведён на Ленинградскую кафедру философии, на должность доцента. Но и здесь проработал недолго: сразу же после присвоения мне звания доцента, Заочный политехнический институт пригласил меня на заведование кафедрой философии. Был вопрос: стоит ли? В горкоме мне посоветовали принять кафедру, дескать, это будет неплохой момент в моей карьере. И я согласился.

Между тем на Ленинградской кафедре философии тоже были события. Женатого Анатолия Харчева, специалиста по семье и браку, уличили в связи с молодой сотрудницей кафедры. Горком предложил ему покинуть кафедру и вообще уехать из Ленинграда. Что он и сделал: разведясь с женой и женившись на бывшей сотруднице, уехал в Москву и стал заведующим каким-то учреждением ВЦСПС. В общем, наказали. Жену он осуждал за то, что она не может родить ему ребёнка. В Москве же его видели с детской коляской.

Ленинградской кафедрой стал заведовать Марат Перфильев. И может быть потому я был приглашён обратно на Ленинградскую кафедру, но уже в должности профессора, хотя звания профессора я не имел. Для получения такого звания нужно было проработать на должности профессора хотя бы год. Конечно, заведующий кафедрой – должность тоже профессорская, но всё же хлопотливая, отвлекавшая от работы над докторской диссертацией, и я согласился её покинуть. На кафедре образовалась тесная группа друзей: Марат Перфильев, Евгений Солопов и я. Марат был заведующим, Солопов парторгом, а мне определили административную должность председателя группы народного контроля. Группы вовсе не было, и я оказывался председателем и группой в одном лице.

В то же время в Ленинградском отделении издательства «Наука» вышла моя книга «Организация биосистем». С ней возникла проблема идеологического характера: редактор издательства, обнаружив в книге позитивное отношение к работе Богданова «Тектология», заявила, что это «богдановщина». Марат пошёл к академику Быховскому и показал ему этот первый экземпляр книги. Тот, похоже ознакомившись, сделал вывод, что никакой богдановщины там нет, и велел книгу печатать. И всё же книга подверглась гонениям – она в библиотеке Академии наук была спрятана в спецхран. Позже я случайно узнал об этом, мне сказали: это произошло потому, что книга напечатана малым

тиражом. Это была глупая отговорка: тираж был большим – 3,5 тысячи экземпляров (сейчас научные книги выходят тиражом не более 300 экземпляров). Но на этом приключения книги не закончились.

Вскоре в академическом журнале «Общая биология» была на мою книгу напечатана разгромная рецензия некоего Хайлова, сотрудника Института биологии южных морей. Я сперва был ошарашен, но, прочитав рецензию, начал смеяться – это был дикий абсурд. Хайлов совершал откровенный подлог, приписывая мне то, что я опровергаю, причём «цитируя» текст, которого в книге нет. Я решил не обращать на рецензию внимания, но окружающие, в том числе Марат и Солопов, упрекали меня, почему я не отвечаю на глупые нападки. А я им – а что с дураками спорить! Но мои друзья настояли ответить открытым письмом в том же журнале. И я поехал в Москву, зашёл в редакцию журнала, показал и соотнёс рецензию и книгу – там схватились за голову: «Как же такое пропустили! Мы книгу не читали и просто ему поверили…» Но печатать моё открытое письмо отказались – ведь это был бы для журнала позор. Тогда Марат опять с книгой и рецензией пошёл к Быховскому, как главному редактору этого журнала, и тот, ругая своих сотрудников, тут же по телефону приказал письмо печатать. Оно было напечатано. В редакцию журнала Хайлова было приказано не пускать и больше его не печатать.

Всесоюзный семинар

Я продолжал работать над диссертацией и создал на базе кафедры всесоюзный семинар по разработке теории организации. В Ленинграде семинары проводились в главном административном здании ленинградского отделения Академии наук, где на втором этаже находилась и наша кафедра, а на первом этаже был офис Быховского. Проводились они и в других городах страны: в Новосибирске, Томске, а последний семинар состоялся в Одессе. В семинаре участвовали в основном ленинградские учёные, в каком-то отношении заинтересованные проблемами организации, мои ученики как мои аспиранты, но и ученики «анонимные», просто приверженцы функциональной теории организации. К ним относился и тогда ещё подполковник милиции, кандидат юридических наук, доцент Академии милиции Ильясов. У нас с ним установились дружеские отношения, так что я с ним ездил в Ригу и Вильнюс, где он принимал экзамены по административной организации милицейских учреждений у заочно обучающихся в милицейской Академии. Однажды он устроил нас с семьёй на отдых в закрытой зоне – на побережье Балтийского моря под Калининградом. Там был целый комплекс ракет, глядевших в море. Там же, на прибрежном песке, я собрал много янтаря, который уже потом дома обрабатывал и делал для Любы бусы. Приезжал из Москвы и бывший начальник отдела организации Военно-морского флота, помощник адмирала флота Кузнецова контр-адмирал Боголепов. Старый адмирал был душой семинара, поскольку тоже занимался теоретическими вопросами организации систем, печатались его статьи по этим вопросам. Мы с ним не во всём сходились, спорили, и он уговаривал меня не быть строгим. Он, увы, вскоре умер, я был у него на похоронах.

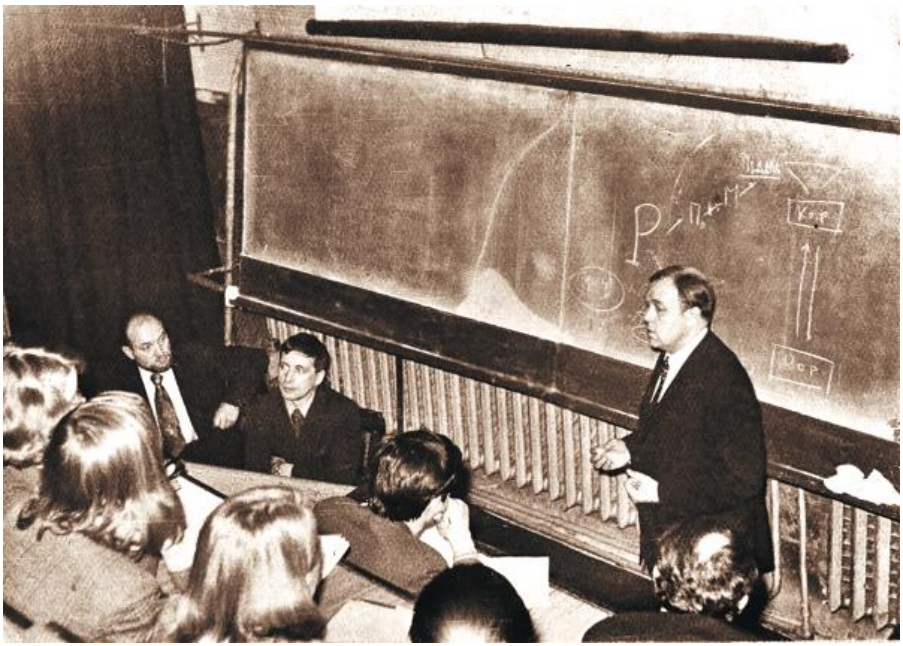
Виктор Платонович и я, стоит за нами полковник милиции доцент академии милиции Сергей Илясов

Душа семинара, контр-адмирал Виктор Платонович Боголепов, помощник адмирала флота Кузнецова по вопросам организации Военно-морского флота

Разберёмся с документами. Организатор семинара профессор Саготовский

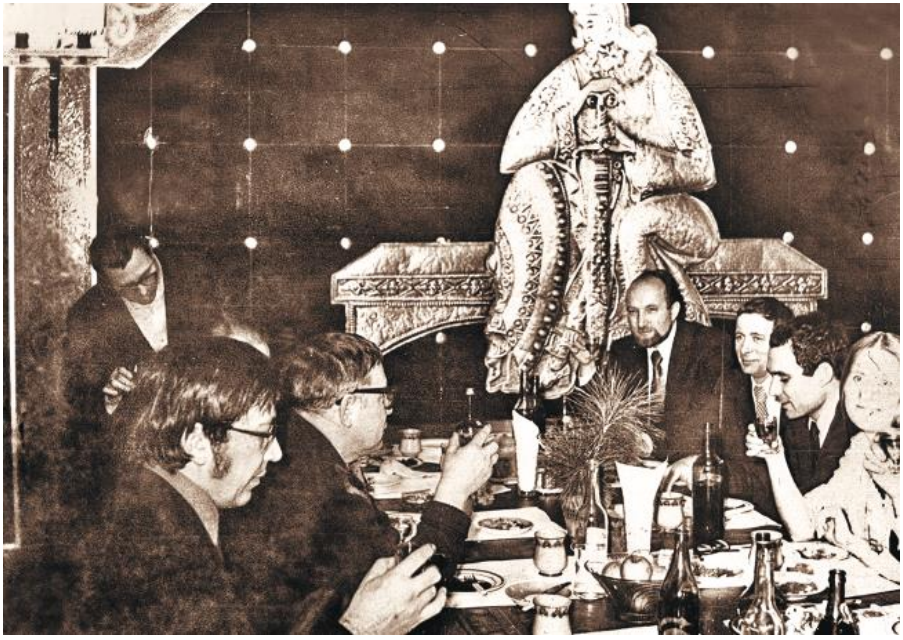
Беседа на перерыве

Новости стенной газеты



Выступает Ленинградский делегат Полубудка

Дискуссия



Прощальный вечер в ресторане «Томь»

Наиболее запомнившимся семинар был в Томском университете, где заведующим кафедрой философии был профессор Сагатовский, он семинар и организовал. На семинар приехало и много ленинградцев, хотя путь в Томск был неблизким. Большую стенную газету, с хорошим юмором по поводу семинара и о нём, создали томичи. Там, например, были и

такие стихи:

В Томи давно нет осетров,
Но к нам приехал сам Сетров.
На него не покушайтесь,
Медвежатиной питайтесь…

Университет выделил деньги даже на прощальный ужин; семинар закончился вполне удачно и запомнился.

С выходом главной моей книги «Основы функциональной теории организации» тоже были «приключения». Издательство обычно автору выделяло бесплатно 14 экземпляров книги. Они у меня тут же разошлись, и я пошёл в магазин «Академкнига», что на Литейном проспекте, чтобы купить ещё, но мне там сказали, что книга продана. Меня это удивило и обескуражило: ведь нужно было подарить очень многим. Книгу, слава богу, нашел в магазинчике при издательстве. Но на этом приключения не кончились. Из библиотеки Академии наук мне позвонили и просили дать им экземпляр книги. Я возразил, что они её уже получили по обычной рассылке. Но оказалось, что у них книгу украли с выставки. Это притом, что в библиотеку с сумками не пускали, а у входа в библиотеку и на выставке стоял милиционер. Кому-то книга очень понадобилась, если он так рисковал. Автор такой кражей возгордился: ещё бы – уже и позитивных рецензий не нужно.

Но однажды на конференции по истории науки, организованной историческим факультетом, на которой был и главный наш системщик кандидат наук Садовский, обнаружилось и негативное отношение к моей книге. Я решил подарить её Садовскому. Когда я вручал ему книгу и он увидел название, лицо его страшно исказилось. Только потом я понял форму такой реакции – Садовский тогда готовил книгу с похожим названием: «Основы теории систем», но я его опередил, и не только книгой, но и званием – он ещё был доцент, а я по должности профессор. Это притом, что в то время, когда я был студентом, он уже был кандидатом наук. Более того, сам Садовский тогда же сказал, что это они с Блаубергом и Юдиным-старшим выдвинули мою работу на присуждение золотой медали. Но, дескать, дело не во мне, а в моём руководителе Завадском – это ему они присудили медаль. Это уже было явной ложью. Во-первых, у Завадского было много других, закончивших философский факультет студентов, но медалистов среди них не было. А во-вторых, эта известная тогда троица «системщиков», имеющая характер сплочённой мафиозной группки, просто не придала моей работе значения, не

видя в ней угрозу значимости их собственных работ. А когда увидели, то стали функциональную теорию организации всячески задвигать, понимая, что она делает их околосистемные рассуждения малозначимыми. Это выразилось и в том, что статья «Организация» в БСЭ дана за подписью Юдина-младшего, только что защитившегося мальца. В статье уже вышедшие к тому времени (1974 год) мои книги по теории организации не упоминаются. В их «системных» статьях и книгах не упоминается и моя статья, напечатанная в академическом журнале «Вопросы философии» ещё в 1969 году, – «Методологические принципы построения единой организационной теории», перепечатанная в журналах за рубежом. Но они, видите ли, её не заметили. Вся эта околосистемная суета вылилась в то, что они создали свой институт системных исследований, где директором и академиком стал Садовский. У нас таких академиков десятки.

Вся эта склочность в московском, да и в питерском научном бомонде позже вынудила меня покинуть его и уйти «в природу». Эта склочность обнаружилась и у нас на кафедре. По моей рекомендации был приглашён мой бывший оппонент по кандидатской диссертации, заведующий кафедрой философии Педиатрического института Василий Филиппович Сержантов. Вроде бы милый человек, но очень быстро начавший на кафедре склоку, явно желая стать её заведующим. Он поносил на разных уровнях управленческой иерархии, вплоть до обкома, моего друга Марата, заявляя, что он не достоин быть заведующим кафедрой. Я упрекал Сержантова за это, но было бесполезно. Спокойствие и порядочность на кафедре были нарушены.

Другой момент склоки был связан с защитой моей докторской диссертации. Чтобы представить её на защиту, нужна была положительная рекомендация сторонней кафедры. И её отправили в университет на кафедру профессора Свидерского, известного специалиста по структурному подходу, на которого в книгах я много ссылаюсь. Свидерский диссертацию «задробил», заявив, что в ней нет никакой теории. Я был поражён: «Да там их две – теория организации и теория содержательной информации!» Но Свидерский стоял на своём и диссертацию отверг. Между тем у нас лежала кандидатская диссертация его аспиранта Зобова, также на предмет её утверждения. По её поводу у меня были большие сомнения, и Марат заявил Свидерскому: если не пропустите Сетрова, мы не пропустим Зобова. И мою диссертацию опять стали обсуждать, но теперь уже полились панегирики и Свидерский заявил, что она имеет мировое значение. Каково! Позже от его же сотрудников я узнал, что ему предложил мою диссертацию не пропускать муж нашего доцента

Изиды Пантелеймоновны, член ленинградского горкома. Эта Изида просто ревновала меня к науке, поскольку я, их бывший аспирант, защищал докторскую, а она всё ещё была кандидатом.

В этом отношении удивительно было поведение Марата Николаевича. Он, ещё будучи кандидатом, помогал мне, его подчинённому, защитить докторскую диссертацию, и это при том, что, когда я пришёл на кафедру студентом, он уже был кандидатом. Он помог мне собрать влиятельный состав оппонентов: заслуженный деятель науки профессор Завадский, декан философского факультета МГУ Мелюхин и главный редактор академического журнала «Вопросы философии» академик Фролов – вершина философии СССР. Академик потребовал, чтобы его с помощником разместили в главной гостинице города «Астории». Марат всё это устроил. Но даже при таком составе оппонентов, высоко оценивших диссертацию, мне два «чёрных шара» всё же бросили. Кому-то на философском факультете я мешал. Я предполагал, что это известные мне «фронтовики», как их тут называли, считавшие меня диссидентом.

Но моя диссертация и я с ней продолжали терпеть приключения. В ВАКе чёрный оппонент из ЦК заявил, что диссертация в научном плане значительна, но не является марксистской. Причём он в отзыве отмечал, что у меня слишком мало ссылок на Маркса – всего 30. Вызванный в Высшую аттестационную комиссию, я заявил, как и в ответе оппоненту, что уважаемый оппонент ошибается – в диссертации их 45. Но при чём тут число цитат, важна их суть! У антимарксистов их бывает огромное количество, но их суть искажена или они неправильно интерпретируются. Уже за дверью, куда меня «попросили», я слышал, как члены комиссии шпыняли за такой способ критики моего оппонента Суворова из ЦК. Беда у меня с этими псевдо-Суворовыми. Я уж потом нашёл его небольшую книжонку по кибернетике и понял, почему он на меня «окрысился». Его книжка, как и книжка другого моего критика Хайлова, была безграмотной – они, оказывается, даже не понимали суть обратной связи. Но у Суворова была и другая причина отрицательного отношения к моей диссертации: «уесть» моего оппонента академика Ивана Тимофеевича Фролова – они на идеологической почве фрондировали. В общем, опять склока. Я позже предложил Ивану Тимофеевичу опубликовать в его журнале рецензию на бездарную книжку Суворова, но он отказался: «Зачем с дерьмом связываться!»

Поездка в Дрезден, ранее уничтоженный англосаксами

Между тем ещё до публикации «Основ функциональной теории организации», вероятно узнав обо мне по статье, опубликованной в ГДР, доктор Вольфганг Краа из Дрездена написал письмо с просьбой опубликовать его статью по вопросам организации. Статью, которая мне подходила, я поисправил и включил параграфом в свою книгу. Позже, после публикации книги, он приехал ко мне гостем. Гость из Европы удивился, что у нас уже большой цветной телевизор и что мы его кормим «как князя», хотя кроме разве что чёрной икры еда была обычной. Он пригласил меня в Дрезден, и вскоре я поехал к нему.

Дрезден, крепость Кёнигштайн. Вид с балкона, 1972 г.

Англосаксы пытались её уничтожить…

Дрезден до гибели

Убийцы сентиментальны…

Беженцы пытаются спастись в открытом городе

Они пролетели, за ними бушует пламя…

Апокалипсис

После них…

Уничтожение будущего…

Он жил одиноко в комнате коммунальной квартиры: Дрезден после его полного уничтожения англосаксами ещё отстраивался. На ночь Вольфганг уходил к своему брату Петеру Краа, который был его соавтором по статье: оба они преподавали в Дрезденском техническом университете. Вольфганг был, по-нашему, кандидатом наук, а не доктором. У них «доктор наук» – это кандидат, а полный доктор – просто «доктор». Здесь я обнаружил удивительный для нас меркантилизм западного обывателя. Это проявлялось не только в поведении Вольфганга, но и его брата. Они как-то повели меня в ресторан, что было торжественно обставлено как большое событие. В ресторане они заказали мне старинное немецкое блюдо – разнообразные колбасы на деревянной плашке, и бутылку какой-то шипучки. Вина не было, а они сидели со мной за столом, ничего не заказав, и смотрели, как я ем. Мне это было так странно, что я, почти давясь, едва доел, в общем-то, вкусное блюдо и, поблагодарив своих благодетелей, постарался скорее покинуть ресторан. В уничтоженном в конце войны Дрездене я побывал в художественной галерее с её знаменитой картиной «Сикстинская мадонна».

Как было осуществлено это злодеяние, нам подробно и красочно поведал американский писатель Курт Воннегут в предисловии к книге «Порожденье тьмы ночной» (1991). (Это, между прочим, о ЦРУ.) Он в это время, как американский военнопленный, работал в группе своих соотечественников на городской скотобойне, а во время бомбёжки отсиживался в её подвале-холодильнике глубоко под землёй и потому только уцелел. Вот что он пишет: «…Город был чудесный, весь во дворцах, как Париж, и совсем не тронутый войной. Он считался

„открытым“ городом, в котором не должны вестись военные действия, поскольку там не было военной промышленности и сосредоточения войск. Тем не менее американские и британские самолёты сбросили на город фугасные бомбы. Конкретно объектов лётчикам не указывалось. Целью ставилось разнести город в щепу и загнать пожарных в подвалы. А затем по наколотой фугасками щепе разбросали сотни тысяч маленьких зажигалок, ну словно семена по свежевспаханному суглинку. Потом ещё раз прошлись фугасками, чтобы пожарные носа не высунули, а тут и очаги пожаров разрослись, слились в одно апокалипсическое пламя. Крупнейшее вышло в европейской истории избиение людей, кстати сказать. Ну и что с того?… От города ничего не осталось, кроме подвалов, в которых запеклись как пряничные человечки 135 тысяч Гансов и Гретель…» Описание чудовищного преступления дано преднамеренно цинично-спокойно, даже ёрнически, чем автор подчёркивает циничную уравновешенность англосаксонского духа (Дрезден-то – центр Саксонии). 135 тысяч женщин, стариков и детей «испечено» заживо в подвалах-душегубках! Ну и что с того? Какие пустяки! Да, германцам всё же далеко до англосаксов: их крематории Освенцима, где они сжигали покойников, просто примитив по сравнению с дрезденским аутодафе. Было разрушено всё, в том числе и знаменитая Дрезденская галерея. Правда, картины были уже вывезены и спрятаны в горах в особо оборудованной шахте, но после бомбардировки электричество отключилось и все картины отсырели. Советские солдаты нашли их в самом плачевном состоянии. Картины отправили в Москву, отреставрировали и возвратили в Дрезден, где они и разместились в восстановленном здании галереи.

Кстати, по поводу перевозки картин в Москву на Западе был поднят страшный шум: дескать, русские грабят культурные ценности Германии. То, что Геринг и Риббентроп вполне официально осуществляли в рамках специально созданных учреждений вывозку в рейх захваченных на оккупированных землях СССР культурных ценностей, – об этом, конечно, молчок! Всё о’кей! И об уничтожении немецких культурных ценностей англосаксами с воздуха – тоже ни звука. А вот русские!..

Между прочим, по поводу «классового» различия в понимании значимости предметов искусства для человечества имеется, можно сказать, исторический парадокс или «казус». Так, наш великий писатель Фёдор Достоевский в своём романе «Бесы» в самом неприглядном виде изобразил бывших своих соратников-революционеров, называя их бесами и считая, что эти социалисты-материалисты и «Сикстинскую мадонну» пустят на

растопку, чтобы сварить себе похлёбку. Да, в середине девятнадцатого века у нас были такие революционеры, их называли нигилистами. Но социалистами их представлять было бы неверно, поскольку они опирались на теорию борьбы за существование, героя и толпы, пренебрегали человеческой культурой. Этот период господства нигилистов в революционном движении отразил в своём романе «Отцы и дети» другой великий русский писатель И. С. Тургенев, причём гораздо глубже, чем Достоевский. У него нигилист Базаров при всех его «одиозных» взглядах – личность героическая и человечная.

Впрочем, история всё поставила на свои места, а бесами, уже не предположительно, а реально уничтожающими «Сикстинскую мадонну», оказались люди, девизом которых являются выбитые на каждой купюре доллара ханжеские слова: «Мы верим в Бога!» Этот девиз, однако, может быть понят и буквально, если учесть, что их реальным богом являются деньги, или, иначе (и более точно), – «Желтый дьявол». Только сатанисты, ни во что божеское и человеческое не верящие, могли совершить злодеяние такого масштаба, обрушив на жилые кварталы и объекты мировой культуры «открытого города» сотни тысяч фугасных и зажигательных бомб. На один город напало 4 тысячи тяжёлых бомбардировщиков. Злодеяние с военной и любой точки зрения совершенно бессмысленное. И два месяца спустя, хотя основные трассы города были расчищены, по ним трудно было проезжать – стояло страшное зловоние от разлагающихся под развалинами трупов. И было их там не 135 тысяч, как считалось официально, а не менее 200 тысяч, – так заявил бургомистр Дрездена, поскольку в городе находились недавно прибывшие и потому не зарегистрированные десятки тысяч беженцев из других городов, спасавшихся от бомбёжек в «открытом городе».

Действительное отношение советских людей к шедеврам мировой культуры выразила искусствовед Наталья Соколова, прибывшая из Москвы для осмотра картин Дрезденской галереи, найденных в каменоломне. У неё с командующим фронтом маршалом Коневым произошло несколько смешное, но очень знаменательное препирательство по поводу способа перевозки картин в Москву для срочной реставрации и «лечения» наиболее повреждённых. Конев предложил для перевозки свой «персональный» самолёт. Искусствовед, как говорят, побледнела от страха: «„Сикстинскую мадонну“ на самолёте? Да бог с вами! Разве можно её на самолёте! Человечество нам не простит, если вдруг…» (А англо-американским воздушным бандитам оно это простило?) «Это отличный самолёт с опытнейшим экипажем, – ответил командующий Соколовой, не понимая её испуга. – Я сам

на нём летаю». «Но вы же маршал, а она – мадонна!» – воскликнула Соколова. Конев засмеялся: «Что верно, то верно, разница действительно есть». Вариант с самолётом был отложен, а картины в Москву были отправлены поездом. После этого в штабах фронта в сомнительных случаях отшучивались: «Но ведь я не маршал и не мадонна».

Нашим солдатам и офицерам было тогда непонятно: зачем эти, уже совершенно бессмысленные, разрушения и патологическая жестокость, когда война практически завершена? «Никак не пойму союзников, что это – глупость или подлость? – возмущается герой Сталинграда генерал Родимцев, рассматривая альбом видов города Дрездена, который ему предстоит брать и который только недавно уничтожен союзниками. – За каким лешим вот теперь, когда до конца войны остались считанные дни, так вот разбомбить, разрушить, сжечь город, и какой город?!. Главное, зачем они исторический центр бомбили, чёрт их побери. Заводы – так вот они слева, целехоньки, только что не дымят. Гитлеровцам отомстить за их варварство? Так они, гитлеровцы, вот в этом загородном аристократическом районе. Тут всё цело, ни одного разбитого стекла, всё цветёт. Нет, прямо по центру, по дворцам, по театрам, по музеям, по старинным соборам ахнули. Не понимаю, ничего не понимаю… Мне его штурмовать, а я не хочу по нему стрелять, мне этот искалеченный город жалко…» Вот здесь и обнаруживается истинный характер русского человека: генерал Родимцев, тогда ещё полковник, не только видел, но и защищал руины Сталинграда от немецких захватчиков. А теперь он жалеет немецкий город и возмущается теми, кто его разрушил. Позже, когда Дрезден был сдан немцами, маршал Конев выразил по поводу гибели города и её виновников такое же возмущение. «А я вот всё думаю и никак не могу понять, – говорил он, – зачем это англо-американцам понадобилось? Для чего? С какой целью?.. Разгранлинии были чётко установлены в Ялте и Тегеране. И не им, а нам предстояло брать Дрезден. И вот эти чудовищные налёты. С военной точки зрения – это нелепость. С общечеловеческой – дикое варварство. Да, у этих руин есть над чем задуматься…»

Своё военное преступление воздушные бандиты лживо оправдывают тем, что они хотят «расчистить путь» своей армии, хотя уже на Крымской конференции было определено, что Дрезден входит в сферу военных действий Красной Армии. И тут же они ханжески сетуют, что поскольку, дескать, «Красная Армия выдохлась», ей необходима помощь. Это притом, что «выдохнувшаяся» армия к этому времени увеличила свое артиллерийское обеспечение по сравнению с вермахтом аж в 30

раз (см. книгу американского историка Дэвиса Глана «Русское военное чудо»), а сами они в лице Черчилля постоянно просят помочь им, усилив на немцев нажим. А почему столь кардинально должен быть уничтожен именно открытый город Дрезден? Это они тоже объясняют, лживо уверяя, что именно там находится управление германской армии, и «если этот город уничтожить, то Берлин сразу же падёт». Очевидность этой лжи заключается в том, что всем военным было уже тогда известно, где находится этот центр – в Цоссене под Берлином и в самом Берлине.

Следует, однако, заметить, что некий американский фильм об этом событии фактически является средством завуалировать участие в этом преступлении американского руководства и его военщины, свалив вину на англичан. Здесь представлены только английские военные чины не очень высокого ранга, которые не могли ставить и обосновывать подобные цели, тем более определять, что «ныне критерием двойного удара являются города восточнее Эльбы». В фильме показано действие только английской авиации… и ни одного американского самолёта! Между тем если англичане разрушали город в ночь на 13, а потом на 14 февраля, то американцы это делали весь день 13-го – такое у них было «разделение труда». За двое суток на один город было сделано более 4 тысяч (!) самолётовылетов «летающих крепостей» и сброшено не менее 10 тысяч тонн зажигательных и фугасных бомб. Вероятно, разрушения были бы ещё значительнее, но большая группа бомбардировщиков сбилась с курса и бомбы сбросила на Прагу.

Жак Пауэлс посвящает гибели Дрездена целую главу. Он считает, что инициатива уничтожения Дрездена принадлежала Черчиллю, а Рузвельт с ним просто согласился. Это маловероятно, поскольку именно Рузвельт наиболее открыто проявил ненависть к немцам, ещё ранее заявив, что немцев вообще нужно… кастрировать. А на Ялтинской конференции, как бы оправдывая предстоящее уничтожение Дрездена и других городов Восточной Германии, он заявил, что немцы должны поплатиться за произведённые ими разрушения.

Но тогда с этих позиций нужно было кастрировать и тех американцев (51 % политически активных граждан США), которые в 1969 году оправдывали массовый геноцид вьетнамцев американскими солдатами. Это особенно наглядно проявилось в уничтожении озверевшими карателями деревни Сонгми, где в течении часа было расстреляно и просто вырезано более 500 мирных жителей, среди них 210 детей. Главным мотивом этого преступления, по официальной же версии, была необходимость

устрашить вьетнамцев.

Да, мотивы преступлений и в Дрездене, и в Сонгми совпадают: Пауэлс считает, ссылаясь на мнение других авторов и высказывания английских и американских чиновников, что решение уничтожить Дрезден определялось желанием продемонстрировать мощь англо-американской авиации и устрашить русских. Но ведь, исходя из высказываний самого Трумэна, по тем же мотивам было уничтожено более 500 тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки. Здесь обнаруживается цепь преступных деяний, не вписывающихся ни в какие законы международного права, человеческой совести и просто здравого смысла.

Мы с Вольфгангом побывали во всех знаменитых музеях Дрездена, в Саксонских Альпах – нагромождении причудливых скал, Кёнигштайне. Во время войны здесь была самая страшная тюрьма в Германии: в огромной скале в предгорье Альп были вырублены помещения крепости, ставшей потом тюрьмой. Вольфганг свозил меня в шахтёрский городок в Альпах Карл-Маркс-Штадт к своему знакомому полунемцу-полуполяку. Тот, как и Вольфганг, знал русский язык, и мы с ним свободно общались. Он утверждал, что поляков в Катыни расстреляли русские. Я выразил большое сомнение – мы, дескать, скорее своих расстреляем, чем иностранцев. Он предлагал мне вновь приехать к нему и соблазнял нудистскими пляжами на балтийском побережье. Для меня это было подозрительно, и на следующий день я уехал в Дрезден.

Перед отъездом из ГДР я съездил в Бранденбург, посмотрел места, где был авиазавод и лагерь. Ни завода, ни остатков лагеря не было, а вместо аэродрома был автодром нашей армии. Что меня удивило, так это настоящие горы шлака на берегу реки Хафель, которой за этими горами было не видно. Это было результатом работы восстановленного металлургического завода. Экологии здесь был нанесён огромный ущерб.

Больше мы с Вольфгангом не общались: я заподозрил его и его знакомого в Карл-Маркс-Штадте в шпионаже. Но фактов у меня никаких не было, и поэтому в соответствующие службы о своих подозрениях я не сообщил. А может быть и зря. Впрочем, становиться детективом я не хотел – от этого был слишком далёк. Теперь я вижу, что наш генсек Горбачёв и президент Ельцин нанесли стране такой ущерб, какого не мог сделать ни один шпион, в том числе и уничтожением ГДР, ностальгия по которому у так называемых из «оси» существует до сих пор. По плохому ностальгии не бывает.

Освобождение от научного бомонда, и я – в царстве природы

У меня после смерти матери было жуткое настроение и упадок сил. Марат это видел и предложил мне отдохнуть месяц где-нибудь на юге. Была зима; юг тогда – это Крым или Кавказское побережье Чёрного моря. Я хотел побывать в каком-либо заповеднике и выбрал Тебердинский, что на Кавказе в горах. Заповедник мне понравился охраняемой природой и благоустройством работников заповедника, особенно научных сотрудников. Они жили в отдельных домиках, а домики, административное здание и небольшой зоопарк с представителями местной фауны – там были зубр, олень, косуля, медведь, волк и лиса, а также различные птицы, в том числе могучий орёл, – всё это было обнесено высокой оградой. В административном здании был небольшой музей природы, и там на полке лежали человеческие черепа странной формы – они были вытянутые вверх. Мне объяснили, что это черепа живших когда-то здесь аланов. Они только что родившемуся ребёнку туго обвязывали голову, и череп удлинялся. Директору и его заместителю по науке я подарил экземпляры своей книги «Организация биосистем», показав тем самым, что и я причастен к биологии. Когда же я восхитился природой заповедника и их собственным благоустройством, заместитель предложил мне занять его должность, поскольку ему по возрасту стало трудно ходить в горы и у него есть важное занятие – он выращивает и продвигает на Кавказ корень женьшень. Я сказал, что подумаю.

Но, приехав домой, обнаружил, что мои друзья об этом и слышать не хотели. А Марат вообще пригрозил, что они тогда «зарубят» мою диссертацию, которая ещё лежала в ВАКе. ВАК тогда перестраивался и, выйдя из состава министерства высшего образования, становился самостоятельным учреждением. Так что утверждение моей диссертации «зависло», хотя академик Афанасьев, которому передали диссертацию, написал хороший отзыв. ВАК перестраивался долго, и я только через три года получил диплом доктора наук, а потом и диплом профессора, став в этом отношении свободным. Но директора Тебердинского заповедника перевели в Кавказский заповедник, и он предложил мне работать у него. К тому времени управление заповедника перевели в Сочи, что для меня было лучше. Но здесь перестройка тоже длилась долго, и я с заповедником работал по договору кафедры с ним, как теперь говорят, на удалёнке. Мной был

разработан макет-матрица модели биоценоза (биологического сообщества) применительно к особенностям Кавказского заповедника. Макет модели был опубликован в организованном мной сборнике статей «Методологические проблемы организации биосистем» (Л., «Наука», 1978). Так что теоретическая и методологическая основа для работы в заповеднике у меня уже была. Но когда я собрался ехать в Сочи, приглашавшего меня директора уже не было – он умер. Кавказский заповедник тогда относился к отделу заповедников министерства сельского СССР, и этот отдел должен был направить меня на работу. В Москве меня встретил заместитель руководителя отдела Криницкий, он, собственно, реально и руководил заповедниками, принадлежащими минхозу СССР, – в республиках были свои заповедники, менее крупные. Криницкого я спросил: кто теперь директор заповедника? Тот с неприязнью сказал: «Да ходит тут…» А неприязнь объяснялась тем, что Анатолия Михайловича Хохлова предложил не он, а Краснодарский крайисполком. Хохлов был зоологом, но только по домашней птице, за что потом в заповеднике терпел насмешки. Но это был трудолюбивый и добрый человек, и мы быстро нашли с ним общий язык.

Свою задачу в заповеднике я видел в том, чтобы построить вначале вербальную, словесную модель наиболее представительного биоценоза, биологического сообщества заповедника. А на его основе – и математическую модель, с дальней целью позже создать модель всего заповедника, и электронную, движущую картину её важнейших компонентов, определяющих направление развития всего заповедного биоценоза. И всё это с целью его сохранения. Основой вербальной модели должна была стать так называемая Летопись природы заповедника, отражающая основные факты его состояния и их изменение со временем. Недостатком Летописи природы было и остаётся до сих пор то, что в ней не отражаются связи между компонентами биоценоза, изменение и характер которых и определяют тенденцию его развития. В модели эти связи между факторами состояния должны быть отражены, и постоянно воспроизводимая, перманентная модель становится подлинной Летописью природы заповедника, как инструмент научно обоснованного управления его биоценоза в условиях сильнейшего негативного влияния на него внешней среды, что касается совершенствования и административного управления его защиты от этой среды.

В философских кругах Москвы и Ленинграда мой отъезд в заповедник был воспринят негативно, как моё чудачество, что наиболее ярко отражает реакция академика Фролова: «Он что, с

ума сошёл?» В заповедник же я уехал не только потому, что хотел избавиться от склок нашего научного бомонда, но и с целью проверить на практике эффективность функциональной теории организации. Увы, эти склоки, теперь уже и на правительственном уровне, в конечном счёте и помешали мне это сделать.

Мой приезд в Сочи совпал с провозглашением на уровне ЮНЕСКО Кавказского заповедника биосферным. Вероятно, с этим был связан и приезд делегации американских экологов во главе с начальником департамента экологии США мистером Кастером с супругой. Их из Москвы привёз Криницкий, и он уже вместе с новым директором и мной организовывал встречу. Делегацию поселили в недавно построенном Доме учёных на самом южном кордоне заповедника Лаура, что находится сразу за Красной Поляной. (Там же, у границы заповедника, но вне его территории, В. Путиным построен шикарный правительственный дом отдыха.) Наш дом учёных тоже был достаточно представительным: в центре дома огромный зал с увешанными по стенам чучелами охраняемых животных (их головы), огромным камином и мебелью ручной работы. А вокруг зала много отдельных комнат, каждая с ванной и туалетом, большой балкон с видом на Кавказские горы. У дома отдельно сауна и перед домом большая бетонированная площадь для транспорта. На этой площади Криницкий вместе с лесничим и мной учили мистера Кастера и его супругу ездить верхом на лошади – из-за приверженности к машинам они забыли, а скорее, вообще не знали, как это делать. У меня сохранились цветные слайды хода обучения начальника департамента экологии США верховой езде. А также застолья после завершения совещания в ресторане военного санатория на открытом воздухе опять же с видом на снежные вершины Кавказа. На одном из снимков не только я с мистером Кастером и его супругой, но в сторонке и сотрудник ЦРУ. Нам на него указали сами члены делегации, относившиеся к нему если и не с презрением, то с явной насмешкой. Пиетет ЦРУ у членов делегации был явно низким, вероятно и в самих Штатах, в чём я ещё более убедился, прочитав книгу американского писателя Курта Воннегута о характере и делах этого учреждения – «Порожденье тьмы ночной». Кстати, мистер Кастер вскоре станет помощником Рейгана по национальной безопасности, но тут же будет заменён русофобом-антисоветчиком Бжезинским. Видимо, Кастер после знакомства с нашей страной и её людьми не мог воспринимать СССР как империю зла, а нас – как исчадий ада.

Управление заповедником тогда находилось в Хосте, рядом с одним из лесничеств, – в Тиссо-самшитовой роще. Там вскоре

поселился и я в одной из комнат небольшого здания управления рощи с крошечным музеем природы. Жильё было неудобным и шумным, поэтому после ремонта небольшой квартирки на кордоне я переехал туда, где и сейчас прописан, только в другой квартире. Тогда в моей квартире была лишь небольшая кухонька без плиты; в комнате, довольно большой, печки тоже не было, мне её кое-как соорудил мой водитель Петя Гришков. В комнате было одно большое окно с видом на рощу сверху. Кордон состоит из трёх одноэтажных домов, в каждом из которых три-четыре квартиры. И расположен он выше рощи – на склоне возвышающейся над Сочи горы Ахун, на вершине которой находятся смотровая башня, созданная по предложению Климента Ворошилова, и ресторан. Слева и спереди кордон «защищают» два каменистых обрыва, а под ними шумят ручьи, текущие в реку Хоста; на берегу её и находится Тиссо-Самшитовая роща.

Жить в квартирке без ванной, с туалетом на улице, мне, недавнему жителю ленинградской квартиры, было неудобно, да и зазорно. Поэтому я требовал от руководства Сочи выделить мне нормальную квартиру. Тем более что директор её уже получил, а мне она, как приехавшему на работу по переводу, полагалась по закону. Директор представил меня председателю сочинского горисполкома, и тот отнёсся ко мне с уважением и пониманием, тут же приказав выделить двухкомнатную квартиру в новом доме. Квартиру выделили в новом двенадцатиэтажном доме в районе Бытха. Квартира была на восьмом этаже, очень просторная, с огромным балконом и видом на море. Мне оставалось только получить ключи. Но тут после смерти Брежнева, с его политикой попустительства, пришёл к власти Андропов и начал «шерстить» зазнавшихся партократов. Был смещён знаменитый тогда председатель крайкома Медунов, и подверглись проверке «на вшивость» все его ставленники, в том числе и в сочинской администрации. Многие оказались в тюрьме – и председатель сочинского горисполкома, которому вменялось в вину участие в аферах с икрой и осетриной с сёмгой знаменитого в Сочи магазина «Океан». А также то, что он построил дачу с фонтаном (этот фонтан почему-то всех задевал – им бы знать о нынешних владельцах дворцов с фонтанами и их воровских дивидендах). Председателем горисполкома стал некий Удотов, повлиявший, хотя и не сразу, на мою судьбу.

А здесь, в заповеднике, правда ещё при Брежневе, произошло событие, тоже икнувшееся не в мою пользу. Директор отправил меня в командировку в Москву на целую неделю. Вернувшись, я, уж не помню зачем, взяв лошадей с лесником, отправился в

заповедник. И здесь у так называемого тогда уже пустующего Холодного лагеря для туристов (я, воспользовавшись разрушением на реке Малая Лаба в половодье мостов, предложил их не восстанавливать, и нарушающие заповедность туристские маршруты автоматически закрылись) я увидел какие-то странные для меня водочные бутылки и коробки от сигарет с иностранными этикетками. Я был крайне удивлён и спросил у лесника: что это такое? «А разве вы не знаете, что здесь охотился Щёлоков?» – ответил лесник. Вернувшись в Сочи, я накинулся на Хохлова – что, дескать, за безобразие! «Я нарочно отослал тебя в командировку, чтобы ты не возникал, – они могли тебя и прибить», – ответил директор. Тогда я собрал своих научных сотрудников и учёных Сочинского лесопарка, и мы написали председателю Комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарищу Пельше коллективное письмо. Ответа письменного мы не получили, но узнали, что Щёлокова Пельше вызывал по нашему письму «на ковёр» и кресло под ним закачалось. Но его спас сам в заповедниках не охотившийся Брежнев: дескать, что мы будем ссориться с министром из-за какого-то оленя (Щёлоков убил тура). Впрочем, при Андропове браконьеру была вменена в вину и охота в заповедниках.

Дело, конечно, в данном случае не в потерях заповедника его отдельных особей при охоте «высокого» начальства: в сравнении с потерями от браконьерства окрестного населения, да и самих лесников, они были незначительными. Более существенны моральные потери, поскольку усиливали нравственное разложение в этом отношении местного населения и самой лесной охраны: дескать, им вот можно, а мы что, хуже их?! Как высок уровень потерь заповедника от местного населения, я убедился, когда выполнял обязанности директора (Хохлов долго лечился после операции). Наибольшую опасность в этом представляет граница заповедника с Абхазией, поскольку у них была традиция: на свадьбе обязательно должна была «дичина», которой в этом случае требовалось много. Ведь свадьбу, а они случались часто, праздновало всё село. И тогда граница Кавказского заповедника «трещала», поскольку вне его уже всё было отстреляно, в том числе и в Рицинском заповеднике. Я послал оперативную группу обследовать именно эту границу. Группа обнаружила чудовищный факт браконьерства: было найдено 14 шкур убитых зубров, следы кострищ, даже припрятанные разделочные ножи, сооружение коптильни и посадочная площадка для вертолёта с вырубкой заповедного леса. В общем, браконьерская охота была организована основательно. Её факт получил всесоюзную и даже мировую огласку

(заповедник ведь биосферный, под эгидой ЮНЕСКО). В газете «Комсомольская правда» был опубликован по этому поводу фельетон «Волки на вертолёте». Но это были не волки, а двуногие, более страшные звери – с карабинами и вертолётом. Волкам зубр не по зубам. Началось следствие, обыски в приграничных сёлах Абхазии и в городе Гудаута. Виновников нашли и судили, причём в адлерском суде, а не в гудаутском, как настаивало абхазское начальство. Там обнаружились и защитники преступников, в том числе Герой Советского Союза Кантария, проживавший в Гудауте. Преступникам вменялось в вину не только браконьерство, но и незаконное хранение оружия (карабины). Кантария заявил, что это он дал карабины браконьерам. И преступники получили отнюдь не по заслугам – два-три года лагерей, и лишь одному дали срок четыре года. А, между прочим, по уголовному кодексу РСФСР за охоту в заповеднике вменялись четыре года тюрьмы с конфискацией имущества. Более того, в комментарии к уголовной статье говорится, что нахождение в заповеднике посторонних лиц с оружием рассматривается как начало охоты и «законченное преступление». Но кто же эту статью соблюдал! Самое страшное наказание за нахождение с оружием в заповеднике – его потеря и, может быть, небольшой штраф. Слишком много у нас «в верхах» любителей поохотиться – дескать, сам грешен. Да вот и вертолётчики почему-то к суду привлечены не были, будто они не знали, куда и зачем летают, кого и что возят!

С получением квартиры у меня возникли и другие проблемы: мне предлагалось сдать квартиру в Ленинграде. Я был готов к этому, тем более что мне за неё, как купленную в кооперативе, должны были вернуть деньги. Но Люба, вероятно как блокадница, отказалась переезжать в Сочи (она всё же не была декабристкой). И тогда, чтобы получить жильё, я предложил ей, хотя бы и формально, развестись. Развод состоялся в хостинском загсе, и я стал свободным мужчиной (пока ещё формально). Даже в загсе женщины, понимавшие суть дела, шутили – из-за жилья мужчине пришлось развестись с любимой женой. Но квартиру, даже однокомнатную, мне так и не дали. Председатель хостинского райисполкома, у которого я требовал выделить квартиру, заявил: «А мы тебе и не собираемся её выделять!» Почему? «А по кочану!» Позже Хохлов сказал, что против выделения мне квартиры был Удотов, председатель сочинского горисполкома. Он заявил Хохлову: «А зачем нам такой замдиректора, если из-за него мы не можем пригласить на охоту министра?» Между прочим, хостинский глава района вскоре покончил «смертью не храбрых», видимо будучи запутан в мафиозной паутине Медунова, не желая

позора и «отсидки».

Но на меня давили не только местные власти, но и столичные. Уволить меня они не могли – не было видимых причин, поэтому сперва меня лишили персональной машины, предполагались и новые каверзы. А тут в Сочи приехал с женой известный у нас философ-логик Авенир Иванович Уёмов, недавний заведующий кафедрой философии Одесского университета. Киев его сместил с заведования кафедрой, поскольку он на кафедре философию превратил в логику, и тогда кафедра имела лишь временно исполняющего заведующего кафедрой. Уёмов обнаружил в Сочи, о чём я даже не знал, «болтающегося» в каком-то заповеднике доктора философии, профессора. Вернувшись в Одессу, он предложил ректору пригласить меня на работу в качестве заведующего кафедрой, что тот и сделал, прислав мне письменное приглашение. Вначале я не хотел ехать в Одессу, решив вернуться в Ленинград, на Ленинградскую кафедру философии. Но моих друзей там уже не было, а, приехав осенью в северную столицу, я обнаружил, что после юга мне с моим хроническим насморком и признаком гипертонии (уши закладывало не только в метро) в Ленинграде жить трудно. А тут ещё сын Сева, как раз закончивший десятилетку. Он стал настаивать на отъезде в Одессу, где он закончит биофак и будет плавать по морям на научном судне университета (его ещё детская мечта).

Одесса, не ставшая мамой

В Одесский университет я приехал по переводу, что мне давало некоторые преимущества – постоянство работы и обеспеченность жильём. Заведующим кафедрой я стал не сразу – ко мне приглядывались. Кафедра философии по числу преподавателей была очень большой – более 40 человек, и её решили разделить: на кафедру гуманитарных факультетов и кафедру факультетов естественных, заведующим которой я и стал. Её фактически пришлось строить с нуля – не только вновь подбирать преподавателей, но и снабдить мебелью, создавать библиотеку. Её помещение находилось на втором этаже углового дома по улице Пастера и состояло из большой комнаты-зала, небольшого кабинета заведующего и маленькой аудитории. Говорят, что этот дом в прошлом принадлежал Воронцову, а в зале, по стенам которого теперь разместились шкафы нашей библиотеки и стоял длиннющий стол для заседаний кафедры, когда-то танцевал Пушкин. Наши преподаватели читали философию на естественных факультетах университета, я, в частности, на биологическом факультете, где вскоре стал учиться на ихтиолога и мой Сева.

Предварительно нам с ним отвели две отдельные комнаты, правда с туалетом и ванной, но без кухни. Зато во дворе корпуса была студенческая столовая, а с другой стороны двора – студенческое общежитие. На дворе около столовой обитала стая собак и колония кошек, которые часто задавали «концерты». Так что наше место проживания было довольно шумным. Напротив нашей полуквартиры на лестничной площадке была небольшая художественная мастерская, а с другой стороны – фотолаборатория. Поэтому и здесь было «весело». К нам нередко стучались клиенты этих заведений с претензией, дескать, почему заведение закрыто. Я иногда отсылал их «подальше» – уж больно надоели. А тут как-то открываю дверь, а передо мной известный артист Валентин Никулин. Тот, что играет Смердякова в «Братьях Карамазовых». Потом я встретил его в магазине, где намеревался купить зонт, и он мне помогал его выбрать.

Все эти неудобства проживания заставили меня требовать выделения нормальной городской квартиры. Университет «выделял» её целый год, а потом ещё год город не давал мне ордера на неё, считая, что университет слишком расщедрился и выделил на двоих трёхкомнатную квартиру в 45 кв. метров (с кухней, раздельным санузлом, большой прихожей и двумя балконами – 70 кв. метров). Война за исполнение существующего

закона – «остепенённому» преподавателю полагалось дополнительно 20 кв. метров на библиотеку – стоила мне много времени, сил и здоровья. Местком университета меня всячески поддерживал и даже настаивал не сдаваться, требовать положенного. Похоже, профкому хотелось моими усилиями создать прецедент реализации закона, чтобы и других преподавателей не обделяли в этом. Но об этом позже.

Севу почему-то призвали в армию, правда в «элитную» группу, отправляемую на службу в ГДР. Через два года он вернулся, но я его сразу даже не узнал: из окна вижу – по двору идёт какой-то солдатик, тощий и согбенный, пригляделся – да это же Сева! Он служил на границе ГДР с ФРГ в миномётной роте корректировщиком. Но у них случилось несчастье: заряжающий солдатик кинул мину в ствол головкой вниз, и мина тут же взорвалась, разнеся расчёт вдрызг. Сева уцелел только потому, что, как корректировщик, стоял с прибором в стороне, хотя и его задели мелкие осколки. Его товарищи погибли так, что и хоронить было нечего. Всё это подорвало моральные силы моего сына надолго, а по существу, на всю жизнь. Он постепенно начал пить, и чем дальше – тем больше, и никакие средства лечения не помогали. Сева вновь был принят в университет, но он уже не хотел учиться, и я буквально насильно заставлял его идти на занятия. Курсовую и дипломную работы ему написали товарищи, он их кое-как защитил и всё же получил диплом. На работу поступил в одесский зоопарк сотрудником отдела герпетологии, где теперь общался со змеями и крокодилами (есть его фотография с крокодилом в обнимку). Позже он стал сотрудником лаборатории Института инженеров морского транспорта, гонял в специальном бассейне различные модели судов в сложных погодных условиях. В этом же институте я иногда читал лекции их аспирантам и принимал у них кандидатский экзамен.

Вообще работа на кафедре шла своим чередом, хотя, конечно, и здесь случались свои события. Мы издали два сборника научных работ своих преподавателей по системно-организационной тематике, один из которых предложили перевести и издать в Праге чехи. Этому помешали события «пражской весны» и наша «специальная акция» в Чехословакии. Зато в Воениздате большим тиражом был опубликован учебник для военных училищ «Философия». Но более громким событием было проведение в рамках уже давно существовавшего Всесоюзного семинара по разработке теории организации конференции по данной теме.

Душой и фактическим организатором её был доцент

Киевского инженерно-строительного института (КИСИ) Семён Николаевич Рудь. Он оказался моим анонимным учеником, и на основе моих книг защитил диссертацию по организации строительства. Говорят, что он «доставал» ЦК КПУ с требованием использовать теорию организации не только в строительстве, но и вообще в организации любого производства, и даже в работе самого ЦК. «Вот уж истинно верующий в теорию организации!» – говорила мне одна из участниц конференции.

Рудь отыскал меня ещё в Сочи и письмом предлагал приехать в Киев, ну а в Одессу он на своём «москвиче» приезжал не раз. А потом он повёз меня к себе в Киев, познакомил с руководством КИСИ. Как-то мы поехали к нему на дачу, которая была недалеко от Чернобыльской АЭС, на которой только вчера произошла авария, о чём мы ещё не знали. Я тогда наверняка получил заряд радиации, ну а сам Семён Николаевич точно облучился. Об этом я позже узнал, когда мы с ним, не помню уж по какому случаю, вместе оказались в Москве. Были в подмосковном военном городке у его брата-офицера в гостях, а в выходной день поехали на Москва-реку загорать. Но не успел Семён раздеться, как его тело покрылось красными пятнами – результат облучения. Позже мы с ним не встречались. Но, уже вновь оказавшись в Сочи, от приехавшего ко мне, «купавшегося» в Интернете Севы я узнал, что Рудь баллотировался в президенты Украины. Он, кстати, был «щирым» украинцем, говорил мне, что его фамилия происходит от когда-то бывшего на Сечи кошевого атамана Рудного, а он, дескать, его предок.

Киевское МВО нас мало доставало, хотя дважды посылало меня с ревизией в провинциальные вузы. Так я однажды очутился с Авениром Ивановичем Уёмовым в Запорожье. Когда я там оказался среди казакующих мужиков и назвал свою украинскую фамилию, те, порывшись в «анналах», тоже нашли, что я предок сечевых атаманов. Мне в это не шибко поверилось, но запомнилось. А позже я оказался ревизором кафедры философии Института тяжёлого машиностроения в… Краматорске, где сейчас, когда это пишу, идут бои. Мы, конечно, в работе кафедры нашли много погрешностей, что отметили в протоколе. Доцент, заведующий кафедрой, почти со слезами на глазах, патетически возглашал: «Ну что вы от нас, провинциалов, хотите! Я и живого профессора в первый раз вижу!»

Однажды я вместе с нашим проректором по науке Зелинским был включён в делегацию на Южно-Украинскую АЭС. Впечатление для меня было грандиозным. Что с ней теперь? Охраняют ли, как Чернобыль, её наши сейчас? За 10 лет только раз Киев прислал и на нашу кафедру комиссию, а с какой целью?

На мой подобный вопрос председатель только засмеялся. «Видите ли, мы стали сомневаться, существует ли вообще ваша кафедра или это только фикция университета». Почему? «Все кафедры всех вузов, в том числе и вашего, нас одолевают анонимками, письмами, заявлениями, а с вашей кафедры ни одной анонимки или жалобы. Для нас это было удивительно». Ну и как? «Кафедра оказалась реальной, и мы поздравили себя: оказывается, можно жить без анонимок и жалоб».

Причину отсутствия с кафедры писем и анонимок я сам не очень понимал, но, может быть, дело в том, что я, обеспечивая на уровне университетских служб нормальную работу кафедры, в организацию учебного процесса не вмешивался, слежением за работой преподавателей не занимался. Тут я всё отдал в руки моей активнейшей и суровой помощницы – секретаря Совета кафедры и одновременно библиотекаря Аллы Иосифовны. В отношении к разболтанным и анархичным одесским интеллигентам-преподавателям она была неумолима. Они бегали ко мне с жалобами: что она отчитывает нас, как девчонок, – подумаешь, я опоздала на три минуты!.. Я качал головой и говорил: опаздывать, конечно, нехорошо, но я поговорю с Аллой Иосифовной, чтобы она с вами была более вежливой. Та знала об этих жалобах, но я ей замечаний не делал, и потому она считала, что я на её стороне. Были другой момент, снижавший напряжение в коллективе, – среди преподавателей у меня не было любимчиков, для меня все были равны. А был, оказывается, и другой фактор, о котором я не догадывался. Когда, на удивление всего университета, при выборах председателя Совета гуманитарных факультетов меня, «естественника», избрали без единого голоса против. Удивлялись: как это ты, столько лет проработав в университете, не нажил себе ни одного врага! Такого у нас не бывало, всегда хоть десяток чёрных шаров, но бросят. Один из преподавателей мне объяснил это так: ты живёшь сам и не мешаешь жить другим.

Конечно, были события и другого рода. Ещё на Ленинградской кафедре философии после выхода в свет моей книги «Основы функциональной теории организации» вскоре в ленинградское отделение «Академкниги» пришло из Москвы письмо с восторженной оценкой моей книги и с благодарностью к издательству и Ленинградской кафедре за её выпуск. Кроме различных панегириков был и такой: эта книга – событие в науке! Подписано оно было доктором технических наук, заместителем директора по науке НИИ и заведующим одного из его отделов к.т.н. Вершиным. Как я потом выяснил, этот НИИ был закрытым институтом нашего ВПК. С Вершиным мы позже тесно общались,

он участвовал в нашем семинаре и публикациях. Но главное то, что он свёл меня с Риммой Николаевной Бахаревой, являвшейся тогда заведующей отделом экономики их института. Это была серьёзная и ответственная должность. Но дело даже не в этом. А в том, что Римма Николаевна Одесскому университету в моём лице сделала серьёзное предложение: на договорной основе разработать важную в научном и практическом отношениях тему – создание в качестве вербально-математической модели системы экспертной оценки технического изделия. Дело в том, что в НИИ, проектирующих различные машины и механизмы, накопились тысячи конкурирующих проектов, а какой из этих проектов более эффективный, никто не знал, не было критериев оценки. Вот систему таких критериев и инструкций по их применению мы и должны были разработать – задача целого института.

Но мы несколько самонадеянно принялись за эту работу. Экономический аспект должна была вести Римма Николаевна. Но главное, что нас вдохновляло, это то, что за нашей спиной стоял… Совет Министров СССР в лице созданного председателем Совета Рыжковым при нём бюро по машиностроению. Такое важное значение придавалось этой проблеме. Для нас главной проблемой по выполнению этой хозтемы кафедры были кадры, которые, как известно, решают всё. Ни один из сотрудников кафедры для этой работы не подходил, пришлось искать на стороне. Кое-как я их нашёл, и всего-то 4 человека: двое мужчин и две женщины, щирые одесситы и все… баптисты. Причём один из мужчин – руководитель одесских баптистов. На идеологической кафедре образовалась религиозная группа. «Органы», да и наш партком это не сразу «расчухали», а когда узнали, стали те и другие меня «долбать», требуя группу уволить. «Вы что на кафедре философии баптизмом балуетесь!» Я отвечал так и сотрудникам КГБ, и даже ректору: «Вы имеете право их уволить – увольняйте! У меня ни желания, ни права на это нет. Они нормально, даже успешно выполняют свою работу, и у меня к ним претензий нет». На время все от меня отстали, поскольку у них действительно не было права уволить человека за его религиозность, да и за спиной у меня стояло всё-таки бюро по машиностроению при Совете Министров СССР, я выполнял его заказ. Позже, однако, меня пригласили в отдел КГБ и попросили оценить опус какого-то одесского интеллектуала под названием «XX век и конец марксизма», который пытался бежать через границу где-то в Таджикистане, но его задержали и вернули в Одессу-маму. И будто бы он баптист – то есть опять-таки настаивали на увольнении моих сотрудников. Я в КГБ ничего не обещал, а о диссидентском материале сказал, что это всё

глупости невежественного человека. Когда же я поведал своим баптистам о новых придирках, что их собрат пытался бежать за границу, они рассмеялись. Дескать, это чушь и подставка: баптист никуда не побежит, он по своей религии должен жить и работать там, где его Бог поставил, и служить той стране, где живёт. Они мне сказали о своей надежде, что я к ним скоро приду. Но я их заверил, что являюсь стойким атеистом в их понимании Бога, хотя и не безбожник: для меня Бог – Природа, а мировой разум – его законы. На этом проблема для нас была исчерпана.

На биофаке тоже были свои заморочки. Дело в том, что на факультетах существовали тогда свои методологические семинары, руководителем которых были деканы факультетов, а консультантом – преподаватель, читавший философию. Но декан биофака доктор биологических наук, заведующий кафедрой генетики по имени Владлен (Владимир Ленин) быть руководителем семинара, однако, отказывался, сваливая нагрузку на меня. Я отнекивался, заявляя, что руководителем должен быть биолог. А тот возмущался, дескать, что он там выдумывает, Сетров биологию знает лучше нас! На такие заявления его, похоже, подвигла моя книга «Организация биосистем», которая у него, оказывается, была. Но главное то, что его, генетика, я в генетике и «уел». Однажды на семинаре я упомянул термин «идиотип», а он с удивлением спросил, что это такое. Пришлось генетику пояснять, что это известный термин в генетике, обозначающий единство генотипа и плазмотипа, общая наследственность организма. В нашу склоку вмешался даже проректор по науке Зелинский, возмутившийся тем, что Владлен Сетрова «достаёт», человека, фамилия которого есть даже в энциклопедии, а «это уже навечно». В методологическом семинаре вначале участвовала даже член-корреспондент Украинской академии наук, но потом она перестала посещать семинар. Когда её спросили, отчего это так, она сказал: «Я его боюсь, задаст какой-нибудь вопрос, а я буду мекать».

Моя война за выделенную мне университетом квартиру продолжалась, и пока безуспешно. Я обивал пороги горкома от третьего секретаря до первого включительно, и всё напрасно. Те решить вопроса не могли. Пришлось пойти в обком к самому первому секретарю Ночёвкину. Но и тот сказал, что приказывать горисполкому в этом вопросе он не может, а выделенный ему лимит жилплощади для сотрудников обкома исчерпан. Вот такие были возможности тогда вершины власти! Ведь Ночёвкин был не только этой вершиной власти в Одесской области, но и командующим Одесским военным округом, куда входило несколько областей. По «царским» временам это власть бóльшая

(по крайней мере, формально), чем у генерал-губернатора до революции. И вот на тебе! Такая убогая власть у первого секретаря обкома. А где у Ночёвкина дворец царского генерал-губернатора с огромной конюшней и несколькими каретами, огромная обслуга его дворца и конюшни? Ночёвкин жил с женой на бульваре Профсоюзов в трёхкомнатной квартире. В такой же квартире над ними жила моя коллега, заведующая кафедрой философии гуманитарных факультетов с мужем, тоже профессором. Я у них бывал. Они угощали меня печёной картошкой, её надо было есть с шелухой – такая тогда была мода. Они по своей профессорской расхлябанности часто заливали нашего «губернатора» водой, а его жена, как и все наши обыватели, стучала им в пол, требуя прекратить безобразие. Отличие места проживания командующего округом от других граждан было лишь в том, что у его подъезда стоял милиционер, а вместо губернаторской конюшни и разнообразия карет – «волга» с закреплённым водителем. Вот и вся обслуга нашего «губернатора». А кто реально управляет практическими делами, у кого реальная материальная власть, я понял позже.

Видя бесполезность высокого партийного начальства в решении моей проблемы, я решил «давить» на университетское начальство, чтобы оно уже конкретно вмешалось. А это было возможно лишь путём угрозы моего ухода из университета. Поэтому я поехал в Карадагский заповедник, который принадлежит Институту биологии южных морей, находящемуся в Севастополе и имеющему академический статус. В заповедник были включены прибрежные скалы Карадага и прибрежная акватория в два километра шириной. Заход туда гражданских и военных судов, в том числе подводных лодок, был запрещён, хотя на вершине карадагского хребта находился радар и стояли ракеты, а на берегу находился огромный дельфинарий. Директором заповедника оказался знакомый мне лесничий кордона Кавказского заповедника. Однажды он даже на своём кордоне угощал меня олениной, уверяя, что это телятина. Он встретил моё предложение стать сотрудником заповедника с энтузиазмом и пошёл показывать заповедник, в том числе дельфинарий, где я покормил дельфина рыбой. Потом он показал и моё возможное место проживания – квартиру с видом на море, хотя и двухкомнатную, других у него не было. Работа в этом заповеднике со статусом академического меня прельщала. Но уменьшалась моя зарплата по должности на сто рублей, отпадали полставки и оплата по хозтеме – так что мой доход снижался более чем вдвое. Я был готов в крайнем случае пойти на эти потери ради интересной работы.

Поэтому всё же поехал в Севастополь и в институте подал заявление на конкурс. Конкурс был проведён тут же, и я прошёл по нему без единого чёрного шара. И здесь опять был своего рода парадокс. Оказалось, что в этом институте старшим научным сотрудником работает и мой злосчастный рецензент Хайлов. Однако он встретил меня хорошо, спрашивал, не сильно ли я обиделся на его злую рецензию. Я ответил, что, дескать, это борьба мнений. А про себя подумал – что на дураков обижаться. По результатам голосования я понял, что сейчас он мне чёрного шара не бросил – и то хорошо. Вернувшись в Одессу, уже стал забывать прошедшую эпопею, но тут вдруг мне пришло сообщение Института биологии южных морей за подписью его директора-академика, что я прошёл по конкурсу и мне предлагается занять должность старшего научного сотрудника.

Серьёзная бумага. И я с ней отправился к ректору и предъявил ему. Тот помрачнел и тут же набрал телефон председателя одесского горисполкома Симоненко. После всяких приветствий он сказал, что Сетрову нужно отдать выделенную квартиру. Слышу: «А что, он ещё не уехал?» Ректор: «У нас кафедру некому возглавить». – «Хорошо, приносите бумагу, подпишу».

Ректор приказал своему техническому помощнику Клюеву, который сидел рядом и всё слышал, написать соответствующую бумагу. Подписанную ректором бумагу Клюев понёс в горком, вскоре вернулся с подписью и понёс её в жилищный отдел. На следующий день я получил ордер на квартиру. Получалось, что моя двухлетняя проблема была решена за пять минут телефонного разговора. И тогда я уже понял, кто в стране правит реально, а кто формально, и что такое телефонное право.

После получения большой квартиры мои, да и Севины лично-семейные проблемы стали решаться иначе и быстрее. С моей женой, с которой я был разведён ещё в Сочи, мы продолжали общаться по-прежнему: она часто приезжала в Одессу и подолгу жила с нами. А я тоже часто ездил в Ленинград, а в летние каникулы долго там жил, рыбача на озёрах Вуоксы и посещая Пушгоры, пушкинские места, Псков. Путешествовал по его окрестностям, в основном на велосипеде, заезжая в Конечек, Мыс, Цаплино с его престольным храмом, могучими древними липами и могилами моих юных друзей и деда Фёдора.

Проезжая как-то туда через Конечек, оказался у моей любимой Зуёвской горки. Мачтовых сосен не было, их срубили немцы для своей линии «Пантера», но был уже густой подрост молодых сосенок. За горкой я услышал шум работающего экскаватора, остановил велосипед и побежал на вершину горы. С

неё увидел, как экскаватор, уже прорыв большой тоннель, подрывает горку, грузя песок в подошедший самосвал. Я просто взбеленился и, подбежав к экскаватору, стал орать работающему парню и подошедшему водителю самосвала: «Вы что, идиоты, делаете!» Те: песок на стройку возим. «Какой песок! Глядите, разрываете захоронение наших солдат!» И показал на торчащие в песке человеческие кости и остатки обмундирования. Я стал угрожать: «Уйдёте вместе с вашим начальством в наручниках!» Угроза подействовала, и те, прекратив работу, вскоре уехали. Я собрал кости: обнаружился почти полный скелет с обрывками обмундирования. Отнёс его на вершину горки, выкопал неглубокую могилу, уложил по порядку собранные кости и соорудил над могилой холмик. Тут же уехал домой, а на следующий день вернулся, привезя необходимый материал и соответствующий инструмент. Из деревянных плашек соорудил остов памятника, Остов обил белым пластиком, обнаруженным у себя на балконе, так что получился на вид почти мраморный обелиск. Привезённой красной краской нарисовал звезду, а ниже надпись «Неизвестный солдат». Внутрь «обелиска», для его устойчивости, набил камней и песка. Пока я работал, почти символически в небе торжественно проплыли могучие десантные корабли Псковской авиадесантной дивизии.

К сожалению, сооружённый мной обелиск не был мраморным, и потому, когда через месяц я вернулся сюда, памятник оказался разрушенным прошедшим здесь смерчем. Был поломан не только обелиск, но многие наиболее возвысившие сосенки. Здесь проявилась стихия, не только социальная, но и природная. Восстановить памятник тогда мне было нечем, а вернуться сюда я смог только через месяц, и обнаружил, что памятник восстановлен, но в другом виде. Это была почти что стандартная деревянная пирамидка с жестяной звездой; могила была ухожена, усажена цветами, и на ней лежала пробитая каска. Надписи «неизвестный солдат» не было, но зато была бронзовая табличка с выгравированными номерами частей и подразделений Красной Армии, прорывавших здесь немецкую оборону. Я понял, что это работа местных пионеров-поисковиков, и заочно поблагодарил их. Но история Зуёвской высоты, как она величается на военных картах, на этом не закончилась. Когда на следующий год я опять приехал сюда, то был поражён: мимо горки теперь проходила довольно наезженная дорога, у её подножия справа стоял стол со скамейками (видимо, для желающих помянуть солдат). Но главное – внизу, у центра горки, на гранитном постаменте, к которому вела мраморная лестница, высилось сооружение в виде двух ракет, на которых был укреплён

большой (метр на метр) макет ордена Отечественной войны. А под ним бронзовая доска с выгравированной надписью «Поле памяти». Горка тоже преобразилась: у её восточного подножия были сооружены капониры для укрытия автомашин и танков; наверху вырыты окопы и ходы между ними, отдельные гнёзда для пулемётов. Могила неизвестного солдата была в том же виде, как её обиходили пионеры-поисковики. В общем, всё как на войне. Когда я через несколько лет вновь приехал сюда, всё сохранялось в том же виде, как я увидел «Поле памяти» в первый раз.

Мои сослуживицы по кафедре, студентки и аспирантки, которым я читал лекции, для меня не были объектами мужского внимания – это было просто поле моей профессиональной работы. Хотя вне этого поля женщин и девушек я не обделял мужским вниманием. Ведь с разведённой женой, в общем-то, встречался редко, так что формально проведённый развод становился всё более реальным. Это понимала и моя мудрая, но как женщина довольно фригидная, Любовь Георгиевна. Поэтому, чему я сам удивлялся, она прикрывала от соседей и друзей мои встречи с другими женщинами, объясняя их как мою работу с аспирантками, что, конечно, тоже было. Более того: после моего мужского равнодушия к моей лаборантке, потом ушедшей в аспирантуру на другую кафедру и потому переставшей быть просто объектом моего профессионального интереса, Наташе Виноградовой – Любовь Георгиевна не возражала против встреч с ней. Она лишь, давно знавшая Наташу, возражала против моей женитьбы на ней. Я только гораздо позже убедился в её правоте, а тогда возражал мудрой Любови Георгиевне, что мне нужны более основательные отношения со своей подругой, ограничивающие её возможные похождения.

Мои новые матримониальные замыслы

Вообще для себя заметил, что не я нахожу женщин, а они меня. Так было и с Натальей. Уже подзабытая мной лаборантка, ранее на которую не обращал внимания (хотя она была стройна и красива), вдруг появилась на нашей кафедральной вечеринке в нашем зале, где когда-то танцевал Пушкин. Она танцевала только со мной, заявив, что пришла на вечеринку, чтобы повидать меня. А когда попутно подвёз её к дому, она, выходя, меня довольно крепко поцеловала. Я всё же принял поцелуй не как знаковый, а как дежурный. Но вскоре она позвонила мне и пригласила к себе домой, дескать, для важного разговора. Поэтому и пошёл к ней для «разговора» не с цветами, а с бутылкой вина. В нашей беседе ничего серьёзного я не обнаружил, но когда собрался домой, она вдруг сказала, что не может оставить меня на ночь, поскольку в доме сильная слышимость. Это уже было почти предложение, на которое я не рассчитывал и о чём вообще не думал. Дескать, такое возможно, но… обстоятельство! Обстоятельство, кстати, заведомо преодолимое. Наталья жила в трёхкомнатной квартире на первом этаже одна. У неё был пятилетний сын от первого брака с университетским преподавателем, который после развода с ней уехал в Киев. Сын Лёша жил с её матерью и её отцом, так что она была свободной женщиной при большом жилье и ни в чём, кроме мужчины, не нуждалась. История её жизни была довольно запутанной. Родилась она в Краснодаре у матери-одиночки после того, как два курсанта (она мне сама об этом как-то говорила) её изнасиловали. Поэтому был неясно, чья она дочь.

Но, наконец, по настоянию своего отца-генерала, признавший Наталью своей дочерью Михаил Васильевич Виноградов, теперь подполковник в отставке, сделал это только тогда, когда Наташе уже было 14 лет. И они с матерью из Краснодара переехали в Одессу. Судьба её матери была тоже нелёгкой. Она была дочерью девушки из-под Архангельска и сосланного туда грузинского князя. После освобождения из ссылки с полюбившейся ему крестьянской девушкой бывший князь оказался в Краснодаре. Но ещё существовавшие родственники князя не признали русскую крестьянскую девушку его женой. Князь уехал один в Батуми – бывшую его вотчину. Так что бабушка Натальи оказалась в Краснодаре с ребёнком на руках, будущей матерью моей лаборантки, а потом и жены. Поэтому отношения в семье родителей Наташи были холодными, часто скандальными. Единственное, что их связывало, – это наличие внука Лёши. Надо отдать должное Наталье: своим важными дедами она не

бравировала и вообще о них не говорила – всё это я узнал от её матери.

К сближению с Виноградовой меня подтолкнули… события в Чернобыле. Дело в том, что, спасаясь от радиации, к ней из Киева приехала её давняя подруга с сыном, одногодком Лёши. Я её никогда не видел, но, со слов же Натальи, это была грубая и развязная женщина, о чём говорит и такой факт: она предлагала Наташе ходить перед мальчиками голой. Зачем? «А затем, чтобы они смотрели на нас, а не зарились на чужих девиц» (статья уголовного кодекса о развращении малолетних; наказание – два года тюрьмы). Нахальная киевлянка скоро в чужой квартире стала хозяйкой, полностью игнорировала Наталью и так её «достала», что однажды та прибежала ко мне со слезами: «Михаил Иванович, спасите меня!» Я звоню её матери, стал её ругать: почему она забыла про свою дочь и любимого внука, отдала их какой-то авантюристке из Киева? И почему её дочь должна искать спасения от этой авантюристки у постороннего человека, а не у своей матери. Та, правда, тут же выгнала из квартиры киевлянку, но нервная система Натальи была так разрушена, что она выглядела совсем больной.

В это время я собирался отдохнуть в Кавказском заповеднике и вообще подальше от Чернобыля, шум о котором всё больше разрастался. Позвонил тогдашнему директору заповедника Николаю Тимофеевичу Тимухину, и тот заверил, что с удовольствием меня примет и обеспечит мой отдых. Я предложил Наталье вместе с Лёшей поехать со мной и на природе отойти от стресса. Она с радостью согласилась и вскоре мы уже были в Сочи. Тимухин поместил нас на кордоне Лаура, что на несколько километров выше Красной Поляны, в Доме учёных. В большом доме с огромным залом и большим камином в нём, широким, во весь дом, балконом с видом на горы и сам заповедник, много комнат с душем и туалетом. Большая кухня с газом и холодильниками, а в стороне от дома – домик-сауна. Всё работает. О лучшем и мечтать было нельзя. И все условия для интимного общения, хотя оно возникло не сразу.

К нему подтолкнули события не очень для меня приятные и даже грозившие мне гибелью. Однажды я решил подняться на двугорбую вершину горы, у подножия которой и находился кордон Лаура. Гора по кавказским масштабам невысока (от подножия до вершины километра полтора, да и тропа к ней довольно торная). Так что в поход я собрался совсем не по-туристски: футболка, шорты, а главное городские сандалеты на скользкой кожаной подошве – так, прогулка по пляжу. И вышел я уже во второй половине дня, рассчитывая вернуться через три-

четыре часа. Но всё обернулось иначе: когда я уже был почти на вершине горы (на это ушло около трёх часов), на неё надвинулась чёрная, грохочущая и сверкающая молниями туча. Молнии, как змеи, извивались вокруг меня и с шипением врезались в землю, расщепляли дубы, а потом… пошёл густой снег. Он засыпал тропу, и куда теперь идти, было непонятно – все направления вниз казались одинаковыми. Когда я, скользя по снегу в своих пляжных сандалетах, оказался у бегущего вниз ручья, то логически решил, что ручей приведёт меня к реке, а там дорога, и я пошел вниз по ручью. И попал в ловушку.

Уже далеко внизу ручей перегородила скала, а сам он ушёл под скалу. «Крылья» скалы раскинулись вправо и влево далеко, и обойти их представлялось невозможным. Нужно было идти назад, вверх, и уже тогда обойти преграду. Ручей тёк по камням среди зарослей колючих кустов, увитых колючим же терновником. Они изодрали мою майку в клочья, а сандалеты остались без подмёток, и я оказался босым на камнях и на снегу. Босые ноги были мало пригодны для подъёма вверх, спасали только руки, тоже изодранные в кровь. Вот тогда я и понял, что мы из рода обезьян: я поднялся метров на сто вверх буквально на изодранных колючками руках. А потом, обходя скалу, вновь стал спускаться вниз, но здесь проблемой была полная темнота и попадавшиеся на пути завалы упавших деревьев. Но уже где-то к часу ночи я всё же вышел на дорогу у реки, а «путь домой», как поёт ансамбль «Земляне», я определял по лужам на дороге, которые всё же отсвечивали сквозь деревья.

В Дом учёных я вернулся в три часа ночи. Но прибывшая в дом пара гостей ещё не спала. Я смыл с себя кровь и грязь, а потом мы с прибывшим молодым человеком выпили почти без закуски сперва мою бутылку коньяка, а потом и его бутылку водки. Это, похоже, меня и спасло. Упав на постель, я мгновенно заснул и проснулся только после полудня. Но ни насморка, ни головной боли не было, только саднили царапины на коже, покрывавшие тело. Оказывается, Наташа требовала у прибывших гостей вызвать спасательный вертолёт, но ей справедливо возражали, что ночью вертолёт бесполезен, а найти человека в дебрях засыпанного снегом леса было невозможно. Её успокаивали: «Человек опытный, сам выберется». Что я и сделал.

После этого события Наташа стала ко мне особенно внимательной и ласковой, а на вопрос окружающих, кто мне она, я отвечал: жена. Мы часто пили чай, обедали, просто сидели на балконе и слушали классическую музыку, глядя на белые вершины Кавказских гор и море зелени вокруг. В этих условиях музыка и природа сливались для нас в одну прекрасную

симфонию. Постоянно гуляли по заповеднику, уходя далеко вдоль реки Чвезипсе в горы, собирали грибы и ягоды. Иногда мне приходилось ходить в Красную Поляну за продуктами (молоко и мёд мы покупали у лесников на кордоне). Обычно Наташа далеко провожала меня и очень радовалась, когда я возвращался с большой корзиной вкусных вещей и с подарками. Периодически, пренебрегая сауной при доме, я топил имевшуюся на кордоне простую парную баню, и мы с удовольствием мылись и парились в ней. В общем, отдых получился отличный, Наташа восстановила своё здоровье, была весёлой и улыбчивой, мы с ней договорились пожениться.

Но две недели пролетели быстро, и надо было возвращаться в Одессу. В октябре состоялась свадьба, а «посаженным отцом» у меня был помощник ректора. Наташа сохранила свою фамилию – Виноградова, и с Лёшей стала жить у меня. Жилья хватало всем. Мы с Наташей жили в большой комнате, Сева в средней, а Лёша в малой. Сева, между тем, очень ревновал ко мне Лёшу, а я всячески уговаривал его, но всё было бесполезно. Он вообще трудно переживал мою женитьбу, хотя раньше говорил, что ему моя лаборантка нравится. Может, нравилась не просто так? Хотя Наталье было уже 32 года, выглядела она очень молодой, а мне тогда было 55 лет – разница 23 года. Однако когда однажды её отец застал меня за мытьём посуды, он спросил: а почему не Наташка? Я: «Молодая ещё». Тот засмеялся: «Какая уж там молодая!..» Когда же я удивился, что Михаил Васильевич не был на свадьбе, он сказал, что даже не знал о замужестве дочери. Оказывается, мать и дочь скрывали это событие от отца. На мой удивлённый вопрос Наталья ответила, что боялась возражений отца, дескать, разница лет. На это тот мне сказал: «Какая разница, если она уже побывала замужем, имеет сына, а вы работаете в одной области, можно сказать, коллеги! Так что пусть она не сваливает на тебя, профессора, работу по дому».

Квартиру я обставил основательно на деньги, что получил по хозтеме в конце года – 6 тысяч рублей. Огромные по тому времени деньги – купил румынскую фирменную мебель ручной работы, под старину. При получении денег у нас с Севой возник вопрос – куда их потратить: купить машину или хорошую мебель. «Жигули» тогда по очереди стоили 2 тысячи рублей, вне очереди, с рук – 3–4 тысячи; «волга» по очереди 4, а с рук новая – 5–6 тысяч. Сева мудро предложил купить мебель, что я и сделал. Перед женитьбой для покупки свадебных подарков и кое-чего дефицитного на свадебный стол поехал в Москву.

Здесь у меня с Маратом Перфильевым, моим другом и бывшим начальником, вышел по телефону несколько странный

для меня разговор. Перфильев с другом и бывшим парторгом Солоповым после моего отъезда в заповедник тоже покинули свою кафедру и оказались в Москве. Здесь Марата его спонсор-академик «пристроил»… консультантом Генерального секретаря ЦК КПСС (тогда им был Черненко). Поистратившись на покупках, я хотел занять у него «тыщёнку». Тот с удивлением и даже с возмущением: «Ты что, с ума сошёл! Откуда у меня такие деньги!» Тогда я удивился: «Но ты же в ЦК – и у тебя нет денег?!» Тот: «Ты сколько получаешь?» – «Пятьсот как заведующий кафедрой, полставки в другом вузе, хозтема; всего получается 800–1000 рублей в месяц». Марат: «Ну вот, а у меня ставка 400 рублей и ни копейки больше! Прирабатывать на стороне запрещено, да и некогда. Ты сколько часов работаешь?» Я: «У меня, как заведующего кафедрой, три раза в неделю приёмные два часа, преподавательские академические часы 4 часа, так что около 6 часов в день. Конечно, научная работа, конференции, но кто же эти часы считал…» Марат: «Ну вот, за все эти льготы – 500 рублей, да ещё возможность приработать столько же. А у меня за 400 рублей официально рабочий день 8 часов, а на самом деле – 10–12, поскольку за отведённое время предложенную работу сделать не успеваю. Работал бы и дольше, но водители гаража и уборщицы кончают работу в срок, и я уезжаю на последней машине».

В своих последних работах я уже писал о «привилегиях» «правящего класса» у нас тогда, когда шахтёр-стахановец зарабатывал больше министра, а высококвалифицированный рабочий – столько же, сколько директор завода. Это и было одной из причин развала СССР и всей системы, чем воспользовалась враждебная к России и вообще к СССР западная (да и восточная тоже) олигархия. Потеря значимости управляющего звена в стране была усилена злобной пропагандой враждебных России сил и вела к потере управления ею, что замедляло и процесс развития страны. Да и явно заниженный уровень зарплаты нашей тогда элиты подвиг их на коренные перемены. Поэтому перестройка управляющего аппарата, в том числе самой партии, была необходима, но в интересах её совершенствования, а не разрушения, что получилось на самом деле. Причин для этого было много, но главная в том, что «идеалом» более эффективной системы оказался буржуазно-капиталистический строй Запада. Откуда взялся этот «идеал»? Прежде всего от богатства прилавков западных лавочек и супермаркетов. В сравнении с нашим дефицитом и пустотой прилавков это было очень наглядно и не требовало размышления. Да и размышлять было не нужно: антикоммунистические и антисоветские «мысли» уже в

оформленном виде с картинками нашим обывателям (от генсека до уборщицы) нам представляли радиостанции «Голос Америки», цэрэушная «Свобода», «Немецкая волна» и множество других подголосков. Мы безуспешно пытались их глушить, ещё больше разжигая интерес обывателя – дескать, если глушат, значит, правда. Конечно, богатство прилавков они объясняли эффективностью капиталистической системы, хотя она и тогда уже шла к развалу, а обыватель Запада всё быстрее увязал в кредитном рабстве.

Истоки кредитного рабства и богатство прилавков одни и те же: не на что купить, а потому, чтобы обывателю всё-таки покушать-приодеться, приходится залезать в долги и становиться рабом банкиров, через проценты высасывающих из него кровь. Да, таким образом сейчас Северная Америка, по определению известного экономиста Катасонова в его книге «Америка против России», является огромным концлагерем. Действительно, граждане США должны банкам более 20 триллионов (!) долларов, а само государство – аж 30 триллионов! Разве же это не современная форма рабства? А сама страна – не огромный вымирающий концлагерь? К этому концлагерю катимся и мы сейчас в своём «умеренном» консерватизме-либерализме, и народ вымирает (как и на том же Западе и в самой Америке).

Но откуда у нас взялся дефицит в магазинах? Здесь несколько причин, тесно связанных одна с другой и одна в другую переходящих. Это, во-первых, популизм генсеков, вроде Хрущёва, чем и Брежнев баловался, и в результате разрыв между уровнем цен и зарплатами основных потребителей. При росте зарплат рабочих – сохранение уровня цен. Регулировать цены их напугал опыт Хрущёва, бесшабашно поднявшего цены на масло и мясо сразу на 40 %. Забастовал даже «оплот пролетариата» Кировский завод в Ленинграде. Хотя опыт успешного регулирования цен имелся. Так, после того, как с полок исчезли коньяк и шампанское, цену на них увеличили вдвое и эти любимые и престижные напитки опять появились на полках магазинов. То же произошло и с красной рыбой сёмгой и осетриной, стоивших 5 рублей за килограмм, а потом стали стоить вдвое дороже и вновь появились в магазинах, но не надолго, ведь зарплаты быстро росли.

А почему они быстро росли, когда темп развития промышленности уменьшался? Здесь среди многих проблем была одна, но, может быть, самая важная, о которой все молчат, а то и просто её не понимают. Рост уровня образованности населения в нашей стране, обеспеченный созданием самой совершенной в мире системы образования, являлся важнейшим достижением

советской власти. Он обеспечил не только быстрый рост производства и благосостояния народа, но и позволил опередить враждебный нам, агрессивный Запад во главе с США в создании современных средств борьбы аж на 50 лет, что позволило избежать третьей мировой войны. Этот «задел» и сейчас хранит Россию. Но всему есть мера, которую мы часто нарушаем, впадая в крайности. И в образовании, отчасти из-за того же популизма, возникли крайности. Брежнев провозгласил всеобщее обязательное среднее образование. Через десять лет все стали «шибко грамотные», и работать у станка стало некому. Да, в одной туристской песенке так и пелось: «Образованные просто одолели».

Из-за нехватки рабочей силы останавливалось строительство важных объектов, предприятия вступили за неё в конкуренцию. А приманкой служили высокая зарплата и жильё. Парадокс: на Западе миллионы безработных, а у нас на стройке некому работать. Когда Андропов стал генсеком и начал разгонять московскую элиту, погрязшую в коррупции и просто в воровстве, он обратил внимание и на нашего обывателя, который, при нехватке рабочей силы, различным образом уклоняется от работы или просто её манкирует. Почему, спрашивал он, в Стокгольме днём на улице никого нет, а у нас в любом городе, в том числе и в Москве, улицы полны гуляющих, просто толпы прохожих? Кинотеатры полны зрителей, магазины, парикмахерские забиты людьми, парки отдыхающими. Кто же у нас работает? Останавливают на улице женщину: «Извините, вы кто по профессии?» – «Парикмахер». – «А почему вы не на работе?» – «Я в магазин иду». – «А как же работа? Там ведь очередь». – «Ничего, другая сотрудница справляется!» – «Значит, парикмахерская может обойтись без вас?» Та задумалась: «Вероятно…» Спрашивают студента в кинотеатре: «Вы почему не на занятиях?» Тот: «Ничего, догоню!» Так вот они «догоняют» Америку… А потом в плановых отделах недоучки «гонят туфту».

Многие объясняли эту расхлябанность «образованных» усталостью народа, хотя ведь другие-то работали как положено. Да, тогда вот так и пели: «Что-то слишком алая над страной заря! Отдохни, усталая родина моя» (А. Малинин). Доотдыхались до перестройки и развала страны. Здесь сказалась и брежневская популистика, его попустительство, потеря партией чёткой управляемости страной.

Одесский университет в лице нашей кафедры и проректора Ануфриева, хорошо знакомого с председателем отдела науки ЦК Роем Медведевым, ещё в начале перестройки представили ему проект учреждения, научно планирующего совершенствование

управления страной, в том числе в экономике, что считалось уже необходимым. Но Рой Медведев нам даже не ответил – им был нужен развал, а не план совершенствования. Уже тогда я задумал книгу с попыткой объяснить истоки этих событий и стал собирать материал.

Тогда же у меня в работе и в семейной жизни произошли изменения. Женился Сева. После множества одесских подруг, он поехал в Ленинград и женился на школьной подруге Свете Чувяковой. Я это событие всячески поддерживал, прежде всего финансово. Нашу большую квартиру мы удачно разменяли. Сева со Светой получили две комнаты в 32 кв. метра в типичном одесском доме на втором этаже с балконом на тихой зелёной улице Петра Великого, фактически на бульваре: ветки старых лип упирались прямо в балкон. Комнаты были в коммуналке, но их легко можно было переделать в однокомнатную квартиру, однако Сева этим заниматься не стал – соседи жили дружно. Мы с Наташей получили недалеко от прежнего жилья двухкомнатную квартиру на втором этаже в новом доме.

А у Наташи вообще была трёхкомнатная квартира, правда в «хрущёвке» и на первом этаже. Лёшу забрала скучающая по нему бабушка, а Наташа жила у меня. В общем, понемногу разобрались, и все были довольны. Через год у Светы родился сын, назвали Игорем, а через два другой – назвали Олегом в честь Олега Николаевича, отца Света, моего «деверя». Так что у меня стало два внука, я стал дедом. Я, конечно, хорохорился и имя «дед» не любил.

Скоро и в работе у меня произошли крутые изменения. Однажды мне позвонил из Кишинёва академик, президент Молдавской академии наук А. Д. Урсул. Он пригласил меня на работу в их Институт философии и права в качестве заведующего отделом диалектического и исторического материализма, с перспективой получения звания члена-корреспондента Академии наук. Урсула я хорошо знал по литературе, близкой мне по теме, – у него было две книги по вопросам информации, и я на них много ссылался, так что темы нашей работы были близки. Уже этим меня соблазняла новая работа, тем более что за преподавательской суетой, да и в работе по кафедре научной работой заниматься было некогда, а в научном учреждении она становилась главной. Всё это и определило моё решение перейти на новую, чисто научную работу.

А в университете меня упрекать за полученную квартиру было некому, поскольку ректором стал бывший проректор по науке Зелинский. Да и университету я отдал десять лет, тем более что замену я себе подготовил в качестве активного

человека, доцента Чайковского (он несколько лет спустя, когда я уже вернулся в заповедник, из кафедр философии организует философский факультет). Конечно – где Одесса и где Кишинёв!.. Но на работу в Кишинёв я ездил лишь раз в неделю, работал на дому и главным образом по хозтеме. Путь был вообще-то не столь далёк, поскольку между Одессой и Кишинёвом курсировала не только электричка, но и дизель-экспресс.

Я часто по хозтеме бывал в Москве, и здесь Римма Николаевна меня уговорила, хотя бы и заочно, взять аспирантом её сына Владимира, лейтенанта КГБ, работающего где-то в марийском лесу охранником заключённых. А как он туда попал? Целая история. Любвеобильный Володя после кэгэбешного училища нашёл подругу в лице дочери начальника училища и даже хотел жениться на ней. Но, похоже, у серьёзного папаши в отношении дочери были иные планы (что там какой-то лейтенантик), и он упёк нежданного жениха подальше в лес, на лесоповал. Теперь его нужно было вытаскивать, а как? Только через диссертацию – сообразила мудрая мамаша и для этой цели запрягла меня, пришлось повозиться. И не только с диссертацией, но и с её защитой. Мне пришлось с ним ехать в Питер к друзьям и знакомым. Защищался он в Ленинградском педагогическом институте имени Герцена (первый в России педагогический институт), на кафедре философии, почему-то имеющей при себе Совет по защите кандидатских диссертаций. А руководил кафедрой и Советом мой сокурсник Стрельченко. Он говорил мне: да не мог этот парнишка написать такую диссертацию, это твоя работа. Но Володя Бахарев вскоре действительно выбрался с лесоповала и стал старшим преподавателем, а потом и доцентом… Академии КГБ. Мама была довольна, хотя тот её, теперь уже полковник ФСБ, позже упёк в психушку.

У меня были и аспиранты-иностранцы. Один из них – капитан сирийской армии, комиссар. Он жил в общежитии, но в отдельной комнате и с женой; часто они бывали у меня дома. Однажды и мы с Наташей были у них в гостях. Бывая на родине, они привозили нам подарки. Мы как-то пытались им «компенсировать» и однажды подарили его жене золотое колечко, но они его не взяли, дескать, всё равно на границе отберут. Они привезли и официальное приглашение посетить Сирию, их дом. Но мы по занятости не смогли поехать, о чём позже жалели. Защищался капитан во Львовском университете. Тогда ни в университете, ни в самом городе Львове каких-либо антирусских (в отличие от Прибалтики) проявлений я не обнаружил, кругом звучал русский язык, защита диссертации шла на русском.

Один же аспирант был аж из Центральной Америки, из Коста-

Рики, коммунист. Он писал антиамериканскую диссертацию, обвиняя США в геноциде их народа не только путём экономического ограбления, но и переноса в их страну опасного химического производства. Из-за этого костариканцы-мужчины теряют способность к детопроизводству и народ Коса-Рики вымирает. Моего влияния на его диссертацию было мало, а защищаться он поехал в Латинскую Америку. Не поехав в Сирию, мы поехали в Прибалтику и Псков. Первая остановка была в Риге, где я бывал раньше. Она мне тогда запомнилась только тем, что как-то в магазине на мой запрос продавщица по-русски сказала, что по-русски она не понимает. Я съязвил: «Гут! Зи дойч шпрехен?» (Хорошо! Вы говорите по-немецки?) «Националистка» несколько смутилась. Я так же заметил, что здесь нет никаких признаков дефицита, и мы смогли купить Наташе меховую шубку. Даже Горбачёв возмутился, когда прибалты стали ставить вопрос о выходе из Союза, стали требовать независимости. Вы, дескать, в Союзе живёте лучше всех, вот даже иностранной валюты вам выделяется больше всех. В общем, они получили «независимость» приобщением к НАТО и вхождением в Евросоюз, а горожане стали работниками у крестьян.

Мы быстро вернулись в Псков, а из него на «Метеоре» сплавали в Тарту, где я побродил по Тартускому университету (бывшему Юрьевскому), а сам заштатный городишко меня не впечатлил. Зато меня особенно поразила служба в Троицком соборе Пскова по поводу церковного праздника «Спаса яблочного». Впечатлял сам храм, его внутреннее убранство и одеяния ведущих службу, похоже, всей Псковско-Печерской епархии – от золотых риз рябило в глазах. Но величественным был сам подсвеченный иконостас, закрывавший всю главную стену и возвышавшийся до куполов. У моей атеистки Наташи, глядящей на него, потекли слёзы. Удивляла малочисленность молящихся: кажется, их было меньше, чем священнослужителей, а ведь это в большой церковный праздник, почитаемый в народе. Побывали мы и в других церквах Пскова, в том числе в монастыре, известном своей чудотворной иконой, спасшей якобы Псков (в отличие от бунтовавшего Новгорода) от гнева Ивана Грозного. Псковичи вышли навстречу царю и его воинству с хоругвями и этой иконой и были прощены. Мы с матерью в какой-то церковный праздник во время войны были в той самой церкви монастыря, где висит эта икона, на праздничной службе. Мне она запомнилась тем, что священник пригласил меня и вручил какую-то чашу, которую я и держал всю службу.

Истерия «самостийности» и отъезд опять в заповедник

Для нас приближалось трудное время – время истерической самостийности, распада основ. Причём во всей стране, а не только на Украине, в той же Молдавии, что прямо задело меня, мои интересы. Ладно бы только символика – флаги, гербы, а то ведь для нас важнейшая ипостась жизни – язык. Теперь я сидел на учёном совете института и ничего не понимал, о чём там они говорят: велено было заседание вести на молдавском, которого я не знал. А учить было долго и для меня бесполезно, поскольку к иностранным языкам я не был склонен ввиду специфики моей памяти – не механической, а логической, ассоциативной.

Я вообще был крайне удивлён, как неустойчив, просто беспринципен человеческий менталитет, как многие люди быстро переориентировались. У одного из своих сотрудников, кандидата философии, недавнего марксиста-ленинца увидел на шее цепочку, которой раньше не замечал. «А это что такое? – спросил я. – Крестик?» – «Да, я же крещёный». – «Подожди, когда же ты крестился? Раньше ты его не носил». – «Было немодно!» У них, как у девиц, – мода. Но это не мода – это предательство или просто отсутствие принципов. Да что там этот никому не известный кандидатик! Вот русский доктор наук, профессор, известный логик А. И. Уёмов: как только вывесили жёлто-блакитный флаг – вмиг стал щирым украинцем и крутым приверженцем «незалежности». Здесь у него не залежалось. А моя дорогая жёнушка Наталья, преподавательница научного атеизма, стала истой христианкой, не зная, правда, к какой конфессии она принадлежит и что такое «бог» (это я понял из начатков её диссертации).

Работа в Молдавии для меня стала неприемлемой, нужно было возвращаться в Одесский университет или даже ехать в Севастополь, в Институт биологии южных морей, где я уже когда-то прошёл по конкурсу. Но и здесь меня угнетала жёлто-блакитность, националистическая истерия незалежности и «украиньска мова». А тут вдруг ко мне приехал командированный директором Кавказского заповедника к.б.н. Кудактин. Меня приглашали вернуться в заповедник в качестве заместителя директора по науке. Я тогда отказался. Но через некоторое время прилетел сам директор Н. Т. Тимухин и стал меня уговаривать, дескать, начальство сменилось, работать будет лучше, а квартиру можно будет обменять. Учитывая ситуацию с работой, а главное,

политическую обстановку в стране, её приближающийся развал, я согласился вернуться в заповедник и закончить его моделирование. О ГКЧП я, конечно, ничего не мог знать, но о назревающем событии догадывался. Это подсказал и случайный попутчик в электричке, подсевший ко мне на станции в Тирасполе. Разговорились, конечно, о политике, и наши представления о событиях оказались близкими. Он оказался депутатом Верховного Совета СССР от Приднестровья и ехал на очередную сессию. Я сказал, что по этому поводу готовлю книгу, тот просил поторопиться, мол, она нужна уже сейчас, ну – месяц-полтора. Я сказал, что так скоро не смогу, только обдумываю и подбираю материал.

А дома назревал скандал: Наталья отказывалась ехать в Сочи и вообще покидать Одессу, её мать тоже. Только Михаил Васильевич был согласен и даже обсуждал вопрос, как в Сочи переправить его «жигулёнок».

Ситуация в семье приняла такой драматический характер, что Наташа буквально на коленях умоляла меня не уезжать, а я настаивал на отъезде вместе. «Ведь я же тебя люблю!» – кричала она, заламывая руки. «Если любишь, тогда едем вместе, а не цепляйся за юбку мамы», – в том же тоне отвечал я. В общем, мне с жёнами в этом плане не повезло: декабристками они явно не были, хотя я их звал не в Сибирь, на Колыму, а в Сочи.

Австрия, Вена и их кредитное рабство

До перевода из Молдавской академии в заповедник я успел съездить в Вену на конгресс по вопросам системности. Валюту тогда для таких командировок ещё выделяла Академия наук СССР. Конкретно мне австрийские марки вручил мой былой защитник академик Афанасьев, хотя он был недоволен тем, что я работаю не в «большой» академии, а в «малой». Для «малой» же академии приглашение на международный конгресс было престижным, ведь он проходил в Вене, а его труды печатались в США, в Вашингтоне. Там была напечатана и моя, тогда, при системно-кибернетическом ажиотаже, необычная статья: «Мифы и фетиши системного движения». Но они это пережили, хотя она для «системщиков» была экзотикой. Я говорил, что понятиям «система», «информация», «сигнал» и другим терминам подобного рода сейчас придан мистический характер, они стали просто фетишами магического свойства, хотя понимания их реального смысла пока что нет. И предлагал перейти от несуществующей теории системности к теории организации типа тектологии А. Богданова и функциональной теории организации М. Сетрова, где все эти понятия и принципы чётко определены, выявлен их реальный смысл и эвристическое значение.

Вена и её окрестности мне понравились, а вот быт буржуазной страны, куда я попал впервые, меня несколько удивил. Во-первых, цены в сравнении с нашими просто запредельны. Так, запомнилась цена красиво представленного мяса: двадцать марок за килограмм (у нас 2 рубля), а машина типа «волги» – 25 тысяч марок (у нас 4 тысячи рублей). Стоимость хорошего номера в гостинице 200 долларов (уже доллары). В магазинах города нет покупателей, хотя полки забиты прекрасными вещами, в том числе разнообразными товарами электронной промышленности. Смотрю на прохожих на улице – все очень скромно одеты и ни на ком не вижу тех дорогих и прекрасных вещей, что лежат на полках магазинов. А тут неожиданно столкнулся с фактом, несколько поясняющим всё это.

Опаздывая на заседание конгресса и не дождавшись редких здесь автобусов, вынужден был взять такси: за рулем молодая женщина лет тридцати. Я был очень этим удивлен: у нас такое случается, но все же редко, а это Вена, Австрия с её принципом трёх «К» для женщин: кирха, кухня и киндер. Спрашиваю, чья у нее машина. – «Фирмы». – Почему она работает таксистом: нет мужа или он безработный? – «Муж есть, и у него хорошая работа». Удивление растет: «У вас много детей?» – «У нас нет детей». –

«Почему?» – «Мы еще не можем их содержать». – (?) «У вас нет жилья?» – «Нет, у нас хорошая квартира. И машина есть». – «Почему же вы с мужем, хотя оба работаете, не имеете детей?» – «Нам ещё нужно выплатить кредит за квартиру и машину».

Вот только теперь всё ясно! Я вспомнил встреченное в Интернете понятие «кредитное рабство». Эти люди, как и миллионы других, бьются в паутине кредитного рабства, и народ при внешнем благополучии вымирает. Показанная картинка из восьмидесятых годов. Но вот вполне современная, 2020 год: статья в «Российской газете» о Нидерландах – «Спасение утопающих в долгах» и конкретно о молодёжи – «Число жителей Нидерландов с долгами за учёбу за четыре года выросло в четыре раза». Здесь комментарии излишни.

Долговая удавка определяет поведение людей даже в политике. Так, известно, что начальник контрразведки ЦРУ пошёл работать в КГБ, наделав больших долгов. Теперь такая же ситуация и у нас в стране. Известно, что 80 % наших должников работают только на выплату процентов за кредит. Кто же их грабит? На кого они работают? Тысячи кредиторов, добрые дядюшки, навязывают деньги не думающему о завтрашнем дне обывателю, которому только сейчас покейфовать, а там будь что будет… А будет то, что уже есть – гонка по выплате долга и процентов по нему или тюрьма. Но кредитная система экономических отношений граждан «развитых стран» бьет по ним не только прямо, но и опосредованно, через стимуляцию роста инфляции, обесценивая их накопления и доход. Ведь выплатой процентов по кредиту они содержат огромный контингент людей, ничего не производящих, но живущих безбедно, что, в конечном счёте, и обесценивает труд взявших кредит. Парадокс, однако, заключается в том, что эти люди, существование которых обеспечивают должники через выплату процентов, сами тоже в долгу «как в шелку», это же касается и самих банкиров. Получается чудовищно огромное беличье колесо с вечной погоней за недостижимым. Но главное – всё это (как и многое другое) углубляет периодически возникающие кризисы, как неизбежный фактор капиталистической системы. А они ведут к безработице, экономическим трудностям населения и потере людьми жизненной перспективы. Так что, господа, наш «совок», как вы величаете советского гражданина, был неизмеримо свободнее и счастливее в своём неведении подобных потрясений и твёрдой уверенности в лучшем будущем, в сравнении с этим «золотым миллиардом», да и вами тоже. Вот ведь даже небезызвестной шлягерше Ксюше Собчак из известной породы хомячков тоже грозила тюрьма за неуплату налога. А ее подруги

«Пуси» уже сидели в тюрьме.

Принципиальное значение характера социального строя для счастья людей и преимущество в этом советского строя в СССР вполне однозначно высказал известный на Западе биолог Дж. Холдэйн на конференции СИБА (Лондон) в 1963 году, когда жизнь у нас была всё же менее обеспеченной, чем в начале «перестройки»: «При всех своих недостатках общества, подобные Советскому Союзу, где мужчины и женщины рассматриваются как производители, могут предложить больше возможностей для счастья, чем общества, где людей рассматривают как потребителей и прилагают большие усилия, чтобы увеличить спрос на различные товары». Погоня за недостижимым, при неоправданном росте искусственно навязываемых новых потребностей, не может обеспечить человеку ощущения счастья.

Конечно, представление о том, что буржуазно-рыночные отношения людей делают их рабами (хотя они сами зачастую об этом и не догадываются), существовало уже в эпоху становления буржуазного строя в тех же Соединённых штатах Северной Америки. И здесь можно сослаться не только на их истинного демократа Тома Джефферсона, но и на более даже известного широкой публике писателя и общественного деятеля – Майн-Рида. В своём романе «Квартеронка» он сталкивает два вида буржуазного рабства своего времени: рабство негритянского населения страны и рабское состояние обывателей его родины Англии, официально отменившей рабовладение. Он считает, что рабство негров менее позорно, чем рабство подданных Её Величества, которые все являются рабами… олигархии. «Я считаю, что рабство негров менее унизительно, чем белых невольников Англии. Несчастный темнокожий раб был побеждён, его сделали рабом насильно. Ты же, бакалейщик, мясник и булочник, считающий себя свободным человеком! – все вы стали рабами по доброй воле и поддерживаете махинации тех людей, кто хочет добавить новые звенья к вашим оковам…»

Немаловажное (а часто определяющее) значение здесь имеет психология человека и такое его сильное чувство, как алчность. Современное развитое общество, как на Западе, так и на Востоке, демонстрирует эту алчность потрясающе наглядно и откровенно. Именно алчность как господствующей в обществе элиты, особенно ее финансово-экономической части, так и управляемого ею народа, особенно обывательской среды, породила современное кредитное рабство. Капиталистическое производство без кредита функционировать не может – кредит дает возможность начать «дело», независимо от того, что это за дело: производство подгузников или выращивание мака. Алчность здесь проявляется

как стремление получить прибыль, и как можно больше. Конечно, помощь попавшему в трудное положение человеку дело благородное, но драть с него за помощь – «дело» подлое.

Кредит придуман финансистами как одна из форм обогащения собственников, а к чему это ведёт, откровенно пишет Иэн Моррис в книге «Почему властвует Запад»: «Неограниченный кредит означал войны без конца» (2016, с. 484). И так думали ещё двести лет назад: «Кредит вызывает войну: набирает армии, оснащает военные флоты, ведёт сражения, осаждает города; его справедливо назвать жилами войны, нежели сами деньги» (Даниэль Дефо; там же). Тратя невообразимо огромные средства на постоянно идущие «малые» войны и на планируемую будущую мировую, США, как государство, погрязло в таких долгах, что их нельзя выплатить, не потеряв всё госимущество вместе с Белым домом и Капитолием…

Но в данном случае речь идёт не о военно-промышленном кредите, хотя именно его система порождает систему кредитования населения на бытовом уровне, которая часто ведет к зависимости типа крепостной, как в Японии с ее пожизненным наймом. Не менее наглядно то, как кредитование превращается в крепостную зависимость, демонстрирует становление крепостного права на Руси. Пришлого и еще свободного крестьянина землевладелец наделял участком земли и необходимыми средствами земледелия за большой процент урожая, который хлебопашец выплатить не мог и становился рабом боярина. Позже этим способом закабаления воспользовались царские дьяки, якобы для обеспечения бояр и дворян, приглашённых на царскую службу, и узаконили закабаление, и возникло крепостное «право», право верхушки быть рабовладельцами над крестьянами.

Таким же рабом банковских систем становится любой обыватель, взявший большой кредит для покупки дома, машины и проч. Причём здесь действует как алчность кредитора получить через проценты прибыль, так и алчность берущего кредит (этим финансовые грабители и пользуются) – получить вот сейчас, как бы на «халяву», большие деньги за незначительный взнос. А то, что его придётся выплачивать много лет с большими процентами и ты уже привязан к данному банку и никуда не двинешься – за тобой следят, – об этом мало кто думает, спохватываются потом, но уже поздно – «поезд ушел». То, что банки, как и другие формы «бизнеса», грабят своих «клиентов», это уже само по себе стало общим местом. Известная шутка: «Подсудимый, вы почему ограбили банк?» – «Он первый меня ограбил!» Эта жёсткая система, построенная на алчности, однако, как сколопендра,

кусает себя за хвост и начинает рушиться, если выпадает хотя бы одно звено – неспособность выплатить кредит. А если выпадает много звеньев, то это уже близко к катастрофе, что мы сейчас и наблюдаем в мировой экономике, да и у нас в стране.

Все чудовищные преступления промышленных и финансовых магнатов вкупе с их истеблишментом прикрываются демагогией о демократии и свободе личности, теориями о неизбежности войн, необходимости военной и экономической экспансии в качестве распространения в мире этой самой свободы и демократии. Она является на самом деле управляемым хаосом, как необходимым условием ловить рыбку в мутной воде. В буржуазном обществе все рабы: и собственники средств производства, и те, кого с помощью этой собственности грабят. Собственник «колотится» в непрерывной борьбе с конкурентами ради не только сохранения, но и приумножения собственности. Причём он делает это не только будучи пленником собственной алчности, но и по необходимости противостоять давлению среды, всегда готовой его раздавить экономически, а то и физически. Состояние ни на миг не стихающей войны. Какая тут свобода, а уж о счастье и говорить нечего. Ну, а те, кого его бурная деятельность оставляет без штанов, они свободны и счастливы? Вопрос риторический, но, конечно, с обратным знаком. Иногда представляется, что уж средний-то слой «развитых стран» как сыр в масле катается и тем счастлив. Но это чисто внешнее и поверхностное впечатление. «Золотой миллиард» Запада обретается в сети кредитного рабства, и каждый из этого миллиарда кредитно-озабоченных «колотится» в паутине долгов, дабы выплатить проценты по ним, на них он только и работает. Он свободен? Ха-ха! Он же привязан к кредитору, который за ним следит, цепями, невидимыми, но более прочными и тяжёлыми, чем железные. А налоговая инспекция – она ведь тоже не дремлет: не уплатишь налог – угодишь в тюрьму. Всё выше сказанное я уяснил лишь несколько лет назад. А тогда, в восьмидесятых годах прошлого века я об этом только догадывался.

Кавказский заповедник и его защита

В Сочи я вернулся лишь с одним портфелем, приходилось наживать имущество здесь и обустраиваться с самого начала. Квартиру в Одессе обменять ввиду начавшейся «незалежности» не удалось, а её Наташа на моё имя приватизировала. Вскоре она нашла в Педагогическом институте друга, спустившись с уровня профессора до старшего преподавателя, и стала настаивать на разводе. А тут неожиданно, может быть даже от политических потрясений, Михаил Васильевич умер. Я присутствовал на его похоронах и был возмущён тем, что его, советского офицера, хоронили под жёлто-блакитным флагом. Да и сам я, ещё не успевший сменить прописку, оказался «грамадянином незалежной Украины». Виноградовой я развод дал, и она сообщила, что вышла замуж. Беря документ о разводе, я спросил у служащей, за кого моя бывшая жена вышла замуж. Та засмеялась: «Переспав с мужиком, они считают, что уже замужние». Тогда же я выписался с прежнего адреса, но квартира, будучи приватизированной, осталась за мной. В ней и сейчас живёт мой старший внук Игорь.

В Сочи же заповедник мне на кордоне Тиссо-Самшитовой рощи выделил квартиру, довольно большую, но совершенно разрушенную. Я стал настаивать на её ремонте, и ещё советское министерство выделило на это 200 тысяч рублей. Это тогда были, хотя и инфлюируемые, но всё же большие деньги. Но ремонта я не дождался, а материалы для него, уже выделенные строительным управлением, как потом выяснилось, превращавшийся уже в мафиози директор Тимухин направил на строительство дома у моря. Зато официально было оформлен обмен моей квартиры на половину домика на территории санатория «Заря». Эта половина дома, когда-то принадлежащего главврачу санатория, теперь была собственностью моего соседа по квартире на кордоне Юрия Карапетовича Арашуняна. Он был когда-то лесником заповедника, а сейчас вот стал начальником склада отдела снабжения санаториев Сочи и большим в этом качестве вором. Что это так, я узнал позже. А тогда этот временный обмен меня устраивал, поскольку в полудомике было две жилых комнаты и помещение для душа, была вода, в том числе горячая, так что и зимой комнаты отапливались. В малой комнате была печь, которую я превратил в маленький камин, и вообще жил в основном в этой комнате, а в ванной комнате соорудил душ. У меня был пёс по кличке Вольтер, добрый, чистопородный красавец дог. У него был чёрно-белый окрас типа

«плащевик». Я его щенком вёз в самолёте в корзине. Он уж двухмесячным был таким большим, что его голова высоко торчала из корзины. Я купил именно дога, поскольку Наташа хотела иметь большую собаку для безопасных прогулок. Но когда он вырос, она уже не могла с ним справляться. Однажды, когда мы на улице её встречали, пёс бросился ей навстречу и уронил в лужу. С тех пор она его невзлюбила, а позже попросила забрать его в Сочи.

Здесь он тоже почудил. Я часто с ним ходил в ближайший магазин, и продавщицам он очень нравился, они его всегда приветствовали и бросали ему обрезки колбасы. Но однажды у них оказалась открытой дверь в кладовую, и Вольтер, исчезнув там, выскочил потом с огромным куском масла в пасти. Раздался вопль продавщиц, и я тоже кричал, но бесполезно: пёс исчез куда-то с маслом в пасти, а потом сам пришёл домой, но уже без добычи.

Когда я с ним ходил на почту, продававшие около неё зелень бабули его тоже ласково привечали, но однажды он вдруг загнул ногу и обильно полил их зелень – шум, вопли старушек!.. Потом при виде его они начинали шуметь и прятали свой товар. К сожалению, он однажды ушёл гулять и не вернулся. То ли моего доброго пса съели корейцы в их недалеко от нас находившемся ресторанчике, то ли кто-то продал его в Турцию: там тогда, говорят, доги были в моде…

На работе у меня всё шло своим чередом. Я продолжил работу над моделированием выделенного в наиболее показательном месте заповедника биоценозе, утвердив новую программу исследований на Учёном совете. Начал помогать Тимухину в работе над вожделенной диссертацией, сам обозначив её тему, и с этой целью даже жил у него дома, так что он стал называть меня членом семьи. Мне говорили, что Тимухин так стремился вернуть меня в заповедник, будучи уверенным: никто, кроме Сетрова, ему не напишет диссертацию. Диссертация была сочинена, и Тимухин её вскоре в Москве защитил. Он мне потом говорил, что защита была трудной, и это для меня было понятно – ведь он сам толком не понимал, что там написано, поскольку так тему и не освоил. А его на Совете прямо спрашивали, какую часть работы он сам написал, так как на вопросы он отвечал путано, а то и вообще не отвечал.

Работа по моделированию одного из наиболее представительных биоценозов заповедника продолжалась не на пустом месте: не говоря уж о наработках в 1977–79 годах, работа по подготовке материала для модели продолжалась и без меня. Группа учёных-энтузиастов работала по предложенной ранее

методике и публиковала статьи по результатам этих исследований. Так они писали: «Одним из важнейших инструментов мониторинга и управления особо охраняемыми территориями является метод моделирования. С целью совершенствования управления ПТК Кавказского государственного биосферного заповедника в 1978 году разработана методика формирования вербально-математической модели его биоценоза (М. И. Сетров)». Основные элементы этой методики построения заповедных биоценозов и непосредственно биоценоза КГБЗ ими были изложены в статье А. Н. Кудактина, В. В. Власова, А. Д. Животова «Предварительные итоги комплексных биологических исследований на биостанции „Джуга“» (Новочеркасск, 2002). Как пишут авторы этой статьи, простое констатирование отдельных факторов среды, слежение за динамикой ряда видов животных не решает проблем оценки состояния целостности экосистем, их эволюции, не говоря уже о разработке путей если не сохранения, то хотя бы снятия пресса отрицательных, глубинных и разрушительных процессов. В этой связи научным коллективом Кавказского заповедника была принята попытка построения вербально-математической модели заповедного биоценоза (Сетров, 1978, 1994). Предполагалось путём поэтапного моделирования отдельных структурных уровней горных экосистем, в строгом соответствии с их иерархией, воссоздать, на описательном уровне, обобщённую модель охраняемой природной территории. С упором, на первом этапе, на описательную модель заповедника, предполагалось воспроизвести структуру, состав, функциональные взаимосвязи отдельных компонентов экосистемы, как единой комплексной системы. Целью такого воспроизведения „жизни“ была попытка систематизации и обобщения взглядов разноплановых специалистов, чья мысль направлена на разработку идей по нейтрализации негативного воздействия антропогенных факторов на компоненты природной среды.

Общую модель, по ряду объективных и субъективных причин, построить не удалось, но был заложен фундамент комплексных экосистемных исследований. В частности, за основу была взята трофическая пирамида: крупные хищники – копытные – растительные ресурсы, ограниченная конкретными рамками системы взаимодействующих компонентов. Это позволило более глубоко и всесторонне проследить взаимосвязи в подсистеме „пастбища-копытные и копытные-хищники“».

При формировании плана исследования СНИЦ РАН на 2010 год предполагалось создание модели биоценоза стационара «Джуга» в рамках материала, полученного в последнее

десятилетие (2001–2010 гг.). Но необходимого для моделирования материала по стационару «Джуга» не оказалось, поскольку наблюдения (мониторинг) за состоянием биоценоза начиная с 2002 года были в заповеднике прекращены. Поэтому для показательной модели был использован материал таких наблюдений в 1996–1999 годах. Этот материал изложен в выше упомянутой статье «Предварительные итоги комплексных биологических исследованиях на биостанции „Джуга“ как основа моделирования горной экосистемы».

Обострившиеся в нашей стране и во всём мире экологические проблемы привлекают внимание к особо охраняемым территориям как наиболее эффективный способ охраны природы. Наиболее же радикальным её способом является создание заповедников. На Кавказе самым известным и экологически значимым заповедником является Кавказский государственный природный биосферный заповедник (КГПБЗ). Особое же значение он имеет для Сочинского региона Краснодарского края. Большинство населения Большого Сочи, да и руководство города, плохо представляют реальное влияние на жизнь всего региона этого царства природы, по территории большего, чем какое-либо королевство Европы. Это влияние не только сильное, но и разнообразное. Во-первых, обеспеченность химически чистой водой стекающих с заповедных гор речек. Во-вторых, чистый воздух, насыщенный большой долей озона, недостаток которого ощущает уже вся планета. Сами сочинцы в силу привычки этого не замечают, а вот их гости сразу же ощущают, как легко здесь дышится. Чистота воздуха и насыщенность его озоном обеспечиваются наличием в заповеднике огромных массивов пихты семисотлетнего возраста. Озон буквально стекает с гор. И, наконец, защищенность региона заповедной частью Кавказского хребта от холодных северных ветров, обеспеченность высокой влажностью, что создаёт на побережье субтропические условия. А это не только тепло, но и радующая глаз пышность богатой растительности, чего давно нет на знаменитой французской Ривьере.

Сохранение всего этого богатства, как достояния не только Сочинского региона, но и всей страны, возможно только при бережном отношении к нему населения и властей, как региональных, так и федеральных. А вот здесь и обнаруживаются главные проблемы. И отношение этих социальных факторов к особо охраняемым территориям становится показателем, индексом экологичности всего региона, возможности его процветания в будущем. Само это отношение, как показывает история, зависит от многих других факторов, таких как

экономическое состояние страны, жизненный уровень населения, его экологическая воспитанность и уровень нравственности, способность и желание соблюдать законы, что, в свою очередь, определяет уровень преступности в стране и способность властей бороться с ней. И всё это во многом зависит от господствующего в стране социально-экономического строя. Что это так, наглядно демонстрирует история не только России, но и всего Запада. Причём для сочинцев более достоверным будет история становления предпосылок и само создание именно Кавказского заповедника, его драматическая судьба с взлётами и падениями, где влияние отмеченных выше факторов на все эти перепады особенно показательно и очевидно для объективного наблюдателя.

После завоевания Кавказа Россией часть горских племён была переселена на равнину, а другая часть ушла в родственную по религии Турцию. Горная часть Северного Кавказа была отдана во владение Кубанской казачьей Раде. Прекрасные горные долины, заросшие девственным лесом; высокогорные луга с пасущимися здесь стадами благородных оленей и зубров; горные кручи с ледниками и снежными вершинами по которым бродят стада серн и туров. Всё это привлекло внимание царской семьи, и великий князь Сергей Михайлович арендовал у Кубанской Рады эти земли (более 500 тыс. га) под охотничий заказник, названный «Кубанской охотой». Заказник строго охранялся специальными отрядами казаков, и любой браконьер просто отстреливался, а лесной страж предъявлял голову нарушителя, за что получал 25 золотых и право самому отстрелять крупную дичь. Подобные строгости были не случайны, а имели прецедент в прошлых методах охраны леса. Петр Первый издал строгие законы защиты природы, так что было указано: «За великую порубку леса у реки сечь голову». И секли. Но вот пробил у нас час капитализма – и у рек, и у озёр лес пошёл под топор.

В 1906 году казачья Рада постановила разделить территорию заказника между станицами, и княжеская аренда была продлена только до 1909 года. Охрана территории фактически прекратилась. А когда стали исчезать в бывшей «Кубанской охоте» последние зубры и казачья старшина решила рубить лес ввиду промышленного бума, то научная общественность России воспротивилась этому и провела международную конференцию в защиту оставшихся трехсот зубров и места их обитания. Николай II, не шибко разбираясь в формах собственности, на резолюции конференции начертал свою: «Частная собственность священна и неприкосновенна», разрешив казачьей старшине рубить девственный лес. Совет министров конкретизировал вопрос,

решив, что «охрана редких зоологических пород не отвечает понятию общегосударственной полезной меры, ради осуществления которой можно поступиться неприкосновенным вообще правом частной собственности». (Ах, эта частная собственность!) Но тут началась мировая война, и казакам стало не до рубки леса. И лишь после гражданской войны, в 1924 году на месте бывшей «царской охоты» был создан Кавказский зубровый государственный заповедник, хотя зубров там оставалось лишь несколько голов. Как и всех остальных животных, сохранившихся лишь в недоступных местах, выбили остатки белогвардейских отрядов, укрывавшиеся там после разгрома деникинских войск. Последние же зубры на горе Алоус были убиты в 1927 году еще скрывавшимися здесь отдельными, теперь уже просто бандитствующими белогвардейцами

Восстанавливать зубра в заповеднике начали в 1940 году, завезя несколько зубробизонов из Аскания-Нова. А для восстановления чистопородного вида доставили зубров из некоторых европейских зоопарков и Беловежской пущи. Процесс воссоздания прекратился с началом войны и военных действий на Северном Кавказе. Немцы зачем-то бомбили зубропарк, и лесная охрана с опасностью для жизни спасала животных, уводя их вглубь леса. Восстановление продолжилось только после войны, и к 1960 году зубров на территории заповедника и сопредельной территории было уже 1200 особей, из числа которых 72 % по экстерьеру выглядели чистопородными. Население за границей заповедника тогда относилось к зубрам «уважительно» и даже с опаской. Когда же те топтали посевы, то просто выгоняли их в лес. На эти же годы приходится быстрое повышения численности животных и всех других видов, что опять же (как и дальнейшие её колебания) зависело от отношения населения и властей к заповеднику, их ответственности и самой нравственности поведения. Именно в середине шестидесятых годов, после смены руководства в стране заповедники, как и другие ООПТ, вновь в глазах руководства, а за ним и населения, приобрели высокую значимость. Возвращаются заповедникам отторгнутые ранее территории, увеличивается финансирование и осуществляются конкретные мероприятия по восстановлению численности животных путём усиления охраны, закладки солонцов для копытных животных, регулирования численности волка и др.

Для этого имело немалое значение и изменение самой психологии как руководства, так и населения страны ввиду явно приближающегося экологического кризиса, который на Западе и в США был близок к экологической катастрофе. Этот коллапс был обусловлен быстрым ростом промышленного производства в

западных странах и в СССР. Конечно, в СССР этот кризис ощущался не так сильно, и не только ввиду меньшей урбанизации, обширности территории и менее высокой плотности населения, но и благодаря централизованному управлению промышленностью, большей возможностью влиять на отношение руководства предприятий и их целых объединений к окружающей среде, снижению отрицательного влияния на неё. Хотя, конечно, и у нас на всех уровнях руководства обнаруживались головотяпы, демагоги и рвачи, готовые ради экономии средств и соответствующего премирования идти на нарушение экологических норм и достаточно строгих законов в области охраны природы. Этим объясняется и Чернобыльская катастрофа. Наши конструкторы АЭС прямо-таки потешались над немецкими, дескать, зачем это они на своих станциях ставят тройную защиту, это не экономно. Но вся эта потеха кончилась тем, что главному конструктору Чернобыльской АЭС пришлось застрелиться.

Впрочем, и на немецких станциях случались аварии, близкие к катастрофе, а на американских катастрофы уже произошли. Только вот почему-то о них они не трезвонят, как наши алармисты, повторяя истерические вопли американской прессы о Чернобыле. Вот и сейчас находятся достаточно известные экологи, склонные изобразить советское время как упадок в защите природы, а время ельцинского правления – в качестве успеха в экологическом законодательстве. Приход же к власти В. Путина – как новый обвал в экологии, в том числе в сокращении финансирования экологических программ. Однако сами же авторы книги «Охрана природы в России: от Горбачёва до Путина» приводят таблицу, отражающую изменения уровня финансирования с 1994 года до 2003 г. Так, если в 1994 году на все виды охраны природы отпускалось около полумиллиарда долларов, то в 1999 году финансирование снизилось до 118 млн долларов. А вот с приходом в эти же годы Путина оно стало быстро расти, и уже в 2003 году составляло 350 млн долларов. А если сравнивать этот уровень финансирования на охрану природы с уровнем финансирования в советское время, в предперестроечный период, то они будут просто несопоставимы. «Государственные капитальные вложения на мероприятия по охране природы…» в СССР, 1981 год: 1800 млн рублей. Если же учесть то, что тогда доллар стоил около 70 копеек и за прошедшее с тех пор время «инфляцировал» на все 100 %, то тогдашнее финансирование экологии превышает нынешнее эдак в 5 раз! Это даже при учёте, что тогда это финансирование распространялось и на союзные республики, хотя те имели

собственное финансирование на подобные же цели.

Авторы, справедливо бьющие тревогу по поводу современного экологического состояния страны, правы, считая это состояние ухудшающимся. Они, однако, склонны видеть причину этого в действии отдельных правительственных чиновников и прежде всего в позиции президента Путина, всячески при этом обеляя Ельцина, не замечая очевидного противоречия в своей позиции. Дело в том, что они справедливо указывают, как на важнейшую причину противодействия любым программам решения экологических проблем, – на существование олигархии, их лоббирование Думой и давление на правительство в целях любым путём сохранить и приумножить свои прибыли. Но ведь именно Ельцин и привёл их к власти, по крайней мере в экономической сфере, прямо влияющей на политику правительства. А Путин как раз и воюет (хотя и не во всём успешно) с олигархией, пытаясь умалить их власть и влияние, в том числе и в вопросах охраны природы. А безуспешность этой борьбы определяется самим буржуазным строем, без изменения которого результаты любых попыток урезонить этих экономических магнатов будут, в лучшем случае, носить характер паллиатива, сделки, в худшем – просто бесполезной тратой сил и времени. Вот такая здесь цепь зависимостей, и пока эта цепь не разрушена, никаких существенных успехов в любой области жизни быть не может. Конечно, и олигархия может пойти на попятную и даже поступиться некоторой потерей прибыли, но только если ей будет угрожать смертельная опасность, как это было в период Великой Депрессии в Европе и Америке, или близкого к катастрофе экологического кризиса. В Западной Европе и Северной Америке он наступил в семидесятых годах. Тогда, в результате послевоенного экономического бума и неконтролируемого роста промышленности, особенно химических предприятий, увеличения числа электростанций, работающих на угле, кислотные дожди уничтожили остатки лесных массивов, реки превратились в сточные канавы. Так что чистую воду стали продавать в аптеке, а вымыслы фантаста Беляева (его «Продавец воздуха») осуществились наяву: кислород стали продавать в баллончиках, а на улицах появились автоматы, где за плату можно было подышать свежим воздухом. Европа и Америка избежали окончательной катастрофы только путём огромных экономических усилий (промышленная и сельскохозяйственная продукция вздорожала вдвое) и драконовских мер против промышленников, отравляющих среду (их до сих пор не только «обременяют» миллионными штрафами, но и сажают в тюрьму). Но кризис так и не преодолен и

экологически чистые продукты продаются по исключительно высоким ценам (т. е. основная масса продукции всё же отравлена), некоторые реки по-прежнему окружены табличками: «Не входить! Опасно для жизни», а на поредевшие леса и поля нет-нет, да и выпадают кислотные дожди.

Миша задумался, меня не слышит

Основной состав управления заповедника. Лежит лесник – нынешний директор заповедника. С. Г. Щевелев

Сева и мой водитель Пётр Гришков

Я у Тебердинского заповедника

Начальник департамента экологии США мистер Кастер (на фотографии слева)

У дома ученых, мы обучаем мистера Кастера верховой езде

Общественность и власти Соединённых Штатов Америки также вынуждены были вести жестокую борьбу с алчностью своих предпринимателей, чтобы спастись от экологической катастрофы. Многое было сделано по очищению воздушного бассейна, рек и озёр, но многое уже невозможно исправить. Невозможно вернуть лесам Америки первозданность, поскольку все они уже или искусственно насажены, или вторичны, даже в заповедниках, которые с позиции нашего понимания заповедности являются не заповедниками, а национальными парками, находящимися в хозяйственном пользовании как коммерческие объекты туризма. Как пишет английский историк и социолог Иэн Моррис в книге «Почему властвует Запад» (М., 2016), североамериканские «пилигримы» в своей алчности свели к началу XX века почти миллиард квадратных километров лесов – что более чем в десять раз превосходит площадь пригодной пашни всей Англии. «Американские „первопроходцы“, эта белая чума, испытывают непреодолимую ненависть к деревьям. Они срубают без милосердия всё, что было до них, и везде воцаряется тот же хаос. Теперь они применяют машины для выкорчёвывания пней, огнемёты и динамит» (с. 507). В наших заповедниках в большинстве случаев под строгой охраной находятся первозданные леса (или степи), причём первозданность сохранена не только в малонаселённых, но и сильно урбанизированных районах страны, например центрально-чернозёмной полосе или на Северном Кавказе, не говоря уж о Сибири или уссурийской

тайге. Кавказский государственный заповедник хранит 270 000 гектаров нетронутых горных лесов, где имеются огромные массивы пихтовых лесов семисотлетнего возраста. Ничего похожего нет ни в Европе, ни в Северной Америке. Правда, в США один из старейших заповедников мира, Йеллоустонский национальный парк, сохранил первозданный лес. Но и здесь дух наживы сказал свое слово: заповедник на основной его территории использовался как коммерческий туристский комплекс и, загоревшись от туристского костра, сгорел дотла, теперь его восстанавливать нужно сто лет. Но ещё хуже обстоят дела в Мексике, куда США сплавили немало экологически опасного производства, в столице Мехико оно составляет 60 % промышленности всей страны. На улицах города нечем дышать, а жители дома и на производстве существуют только за счёт кондиционеров. Огромный же парк-заповедник, существовавший у города, давно погиб, и его кемпинги и приюты никто не посещает – там нечего смотреть, там нечем дышать. Экологи сам город Мехико (20 млн жителей) и его бывший парк-заповедник называли страшным сном по пятам кошмара. Спрашивается, почему же наши нынешние критики советской экологической политики, сваливая провалы в ней на социалистический строй, помалкивают о подобных экологических кошмарах на капиталистическом Западе?

Вопреки стенаниям наших алармистов именно Россия-СССР выполняла и продолжает выполнять миссию оздоровления экологии планеты, сохранив нетронутой на территории большого числа заповедников и сибирской тайги, природу страны – почти шестой части света. Это сейчас официально зафиксировано в таком документе, как «Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке» (М., 2002). Россия «обладает уникальным экологическим потенциалом в виде незатронутых или мало затронутых хозяйственной деятельностью территорий, представляющих собой резерв устойчивости всей биосферы, благами которого фактически пользуется весь мир», – отмечают разработчики «Стратегии устойчивого развития».

Это, конечно, не значит, что у нас с охраной природы всё блестяще и мы можем почивать на лаврах: экологических проблем у нас огромное число, и многие из них в предвидимом будущем неразрешимы. Они как раз неразрешимы именно в виду господства в стране олигархии, не только не заинтересованной в решении экологических проблем, но и всячески препятствующей их решению, потому что это снижает её прибыли. Когда в процессе перестройки экономическое состояние страны стало ухудшаться, многим казалось, что всё может измениться к

лучшему, если мы социализм поменяем на капитализм. Поменяли. И всё стало меняться, но, увы, только к худшему. Здесь характерна судьба как раз Кавказского заповедника, история его процветания и разорения, напрямую зависящая от отношения к нему населения и властей, которое, в свою очередь, прямо зависит от социально-экономических и политических изменений. Это отношение выражается не только в уровне финансирования, но и прямого воздействия на заповедную территорию в виде усиления браконьерства, сокращения численности охраняемых животных, расхищения имущества заповедника. Конечно, уровни влияния на состояние охраняемой территории населения и властей различны: ведь «численность» потенциальных браконьеров из окрестных селян и чиновников высокого ранга различна. Соответственно различен и непосредственный вред заповеднику этих «факторов». Но нарушение заповедности «начальством», тем более правительственного уровня, особенно опасно в моральном отношении, поскольку нравственно разлагает не только окрестное население, но и саму охрану заповедника: «Если им можно, то почему же нам нельзя?»

Подобная проблема существовала и в советское время. Так, министр обороны Гречко не только позволял себе охотиться в Кавказском заповеднике, но и построил на склоне горы Чугуш охотничий домик: там и сейчас хранится в качестве «реликвии» его каменная засидка, где он подкарауливал туров. Правда, министр пытался компенсировать урон заповеднику тем, что присылал ему вездеходные машины и оружие для охраны, хотя, конечно, это никак не компенсировало наносимый им моральный ущерб заповедности. Брежнев, будучи страстным охотником, в заповедниках сам не охотился – для этого существовали специальные заказники, но ввиду своего нежёсткого характера смотрел сквозь пальцы на подобного рода нарушения своих подчинённых. Так, министр внутренних дел Щёлоков в 1978 году счёл возможным поохотиться в Кавказском заповеднике. Как уже указывалось, сотрудники научного отдела заповедника и Сочинского национального парка обратились с жалобой на беззаконие министра к председателю Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Пельше. Пельше сразу же отреагировал, вызвав Щёлокова «на ковёр», и кресло под министром зашаталось, но его тогда спас Брежнев: «Ну что мы будем ссориться с министром из-за оленя!» (Щелоков отстрелял тура). Тот, кстати, понимал, что он сбраконьерничал и, выходя в Пицунде из вертолёта, откуда выносили убитого тура, сказал: «Я не стрелял!» Это была «ложь во спасение». Но она его не спасла. Когда Андропов стал «трясти» его за все великие и малые прегрешения,

ему в вину было поставлена и охота в заповедниках. Так что тогда ещё было кому пожаловаться. А теперь?

«Теперь» начиналось в начале 90-х годов, когда брошенное в нужду население не только выбило всё живое вокруг заповедника, но и ринулось на его территорию. Высокое начальство, а тем более местное, от подопечных не только не отставало, но и задавало тон. И здесь началась война интеллигенции за спасение заповедников и любых особо охраняемых территорий. Сперва эта война велась в местной печати, на радио и телевидении. В Сочи главным рупором борцов за спасение Кавказского заповедника была газета «Черноморская здравница» и еженедельник «Сочи». В еженедельнике в октябре 1994 года была напечатана большая статья его корреспондента Николая Семененко «Пикник на обочине». В ней автор, оценивая огромную значимость заповедника для большого Сочи и всей страны, пишет: «Ныне в чертогах Кавказа свила гнездо демоническая сила, глумится над природой, изводит зверьё и растения. И ничто не может повлиять на эту чертовщину. Мистика… Не верите? Вот документы». Далее приводятся докладные членов оперативной группы, завбиостанции «Джуга», отдельных научных сотрудников, находящихся на территории, главному государственному инспектору и руководителю НИР заповедника. В них факты браконьерства с вертолётов местного начальства, брошенные головы и целые трупы оленей, зубров, серн, порубки краснокнижного каштана и др. Но более концентрированно все эти безобразия приводятся в резолюции по докладу замдиректора по НИР заповедника Общественного совета Сочи. «Идёт резкое снижение численности животных заповедника, особенно оленя, зубра и медведя, как основных объектов браконьерского промысла; дом для приема иностранных учёных (кордон Лаура) преобразован дирекцией в дом охотника и сдан в аренду на 25 лет частному предприятию „Крокус“ (главный фундатор Тимухин Д. Н., бухгалтер – Р. В. Тимухина); „Крокусом“ в охранной зоне заповедника организована охота для иностранных граждан по лицензиям, выписанным „для научного отстрела“; кордоны превращены в перевалочные пункты для браконьеров, хранилища их оружие и боеприпасов, пункты заготовки мяса, рыбы, откорма скота для продажи». Далее в резолюции говорится о пропаже имущества заповедника (автомашин, табуна лошадей, новых мотопил и многого другого), беспрецедентной текучести кадров (людей увольняют «по сокращению штатов») и др. Ровно через год, в октябре 1995 года, еженедельник «Сочи» вновь вернулся к положению дел в Кавказском заповеднике. В статье корреспондента Олега Галицкого «Царская охота» почти во всю

первую страницу в коллаже изображен верхом на вертолёте с пулемётом в руках начальник ФСБ Ерин. И рассказ о печальных делах заповедных начинается с изложения методов «замазывания» местной, адлерской милицией дела о преступлениях в заповеднике, перечисленных в приказе и.о. Генерального прокурора РФ Ильюшенко, изданного на основе письма замдиректора по НИР заповедника, с требованием расследовать незамедлительно, поскольку «дело поставлено НА КОНТРОЛЬ». Но из всех перечисленных в приказе преступлений сочинская милиция выделила только порубку каштана – тут уж некуда было деться – пни-то, о которые еще год назад спотыкался корреспондент Семененко, вопиюще очевидны (пни эти позже по приказу директора были лесниками выкорчеваны). Однако следователь адлерской милиции расследование и этого дела приостановил «ввиду неустановления виновных лиц», хотя эти лица общались с ним каждый день. Адлерский прокурор, воспротивившийся приостановлению дела, был просто избит «неизвестными лицами». Ну, а и.о. Генпрокурора Ильюшенко пострадал ещё больше: коррупционеры-взяточники его не только отстранили от должности, но, обвинив во взятке, отправили в тюрьму – слишком много лиц верхнего эшелона власти задевал приказ прокурора. Что говорить: когда я ещё до письма Генпрокурору с подобным же письмом посетил министра экологии Данилова-Данильянца, тот ответил, что ничем помочь не может, и так, почти на ушко: «Я сам их боюсь. Мафия!»

Борьба в печати на региональном уровне, да и обращения к московским властям практически ничего не дали, и тогда борьба за будущее нашей природы была поднята на всероссийский уровень и даже выше – в ООН. Вот в газете «Московский комсомолец» за 19 сентября 1995 года в статье «Зубры вышли на охоту» приводится письмо в ООН старейшего инспектора-лесника Кавказского заповедника А. К. Александрова: «…А на Закане и Умпыре творится жуткое. Выбивают зверя. Вылавливают капканами и петлями. А на Бане – там засыпали всё бутылками и банками… Я пишу, а сердце кровью обливается. Если не примем меры, нашему заповеднику будет конец. Умоляю вас, помогите». Статьи с разоблачением преступлений «высокого начальства» (только нахождение посторонних лиц на территории заповедника с оружием по статье ещё тогда действующего УК РСФСР № 166, в комментарии к ней, определяется как начало охоты и законченное преступление и наказывается 4 годами заключения с конфискацией имущества) были опубликованы также в газетах «Известия», «Комсомольская правда», журнале «Огонёк» с фотографиями, в том числе Черномырдина с медвежонком

возле убитой медведицы.

Борьба за родную природу принимала не только драматический, но и трагический характер. Так, после митинга-протеста в защиту заповедника сочинских, а также прибывших из Краснодара и Майкопа студентов, некоторые из них демонстративно прикрепились наручниками к решетке у здания управления заповедника. Прибывшая милиция во главе с «мэром» Адлера Асатуровым арестовала студентов и разогнала толпу присоединившихся к ним горожан, а одному студенту оторвала кисть руки. Своему заместителю по науке, т. е. мне, директор Тимухин заявил: «Сдохнешь под забором!» А в дом главного лесничего, поддержавшего протестующих, была брошена граната. Что уж говорить об избиении прокурора Адлера – местная мафия разгулялась вовсю! И всё же борьба против браконьеров всех мастей и уровней не была напрасной: сила давления на Кавказский заповедник и другие ООПТ значительно снизилась. Первым на публикацию в «Огоньке» отреагировал Черномырдин, публично заявив, что он больше в заповедниках охотиться не будет. Прилетевшему на охоту в Кавказский заповедник министру обороны Грачёву уже сам директор сказал, что лучше этого не делать, поскольку народ, особенно молодёжь, бунтует, в ООН пишут. Говорят, что министр, матерясь, улетел на охоту в Теберду. Но уж совсем сенсационным, до абсурда, было заявление Ельцина в последний его прилёт в Сочи. Выходя в аэропорту из своей «России», он сказал собравшейся у трапа толпе: «Я приехал на охоту, но ваших зверей стрелять не буду – я их привёз с собой!» Вероятно, столь нелепое заявление было сделано подшофе. Получалось, что не президент защищает природу страны от браконьерствующего населения, а граждане страны вынуждены защищать её от президента. В подобное поведение главного чиновника РФ можно было бы не поверить, если бы сочинское телевидение не зафиксировало его в передаче в тот же день. Однако и некоторое удовлетворение у телезрителей тоже было: «Всё же и до этих тупых чиновных браконьеров дошло!» Да, реакция на подобное поведение президента так и выразилась: на опорной стене автотрассы в Адлере было огромными буквами выложено: «Ельцин, дебил – вон из России!»

Конечно, состояние ООПТ, прежде всего заповедников, а, стало быть, и экологическое состояние соответствующего региона, зависит не только от уровня незаконных действий населения и чиновников, но и от узаконенных воздействий на них. Здесь главным является разрешение хозяйственной деятельности на территории заповедников, её виды и их интенсивность. Потеря государством после «реформации»

способности финансово полностью обеспечить деятельность ООПТ именно в их охране и научных исследованиях (предусмотренных ранее отделов НИР) привела к «идее» переложить основное их обеспечение на них самих путём разрешения здесь хозяйственной деятельности, «бизнеса». Это реализация уже теперь ставшего господствующим принципа «спасение утопающего есть дело рук самого утопающего!». И это несмотря на то, что такой подход в приложении к заповедникам является полностью абсурдным, поскольку сам принцип заповедности полностью теряет смысл. В. Е. Борейко в книге «Этика и менеджмент заповедного дела», изданной в Киеве, но на средства московского Эколого-просветительского центра (2005 г.), выделяет искони существовавшее положение в заповедном деле: «Заповедность – это такой режим природного объекта, при котором запрещена любая хозяйственная деятельность» (с. 79). Далее Борейко отмечает (с. 251), что 80-е годы в СССР были золотым веком заповедности, поскольку официально утверждалось, что получение экономической выгоды от заповедников недопустимо. «К сожалению, в начале 90-х годов в России, Украине и других странах СНГ в связи с развалом СССР и трудной экономической ситуацией появились призывы перевести заповедники, не говоря уж о других ООП, на частичную самоокупаемость». И как конечный вывод: «Особо важным становится держать любой бизнес на расстоянии пушечного выстрела от любых ООТ. Ибо бизнес, как сифилис, попав в здоровый организм заповедника, мигом поражает всю его структуру, вызывая гниение, а потом и гибель» (там же, с. 268; выделено В. Борейко).

На численность животных в заповеднике влияет не только браконьерство населения и чиновников на вертолётах, но и такой фактор, как изменение природно-климатических условий. Для Кавказского заповедника характерным фактором, снижающим число животных, особенно копытных, являются многоснежные зимы. Это видно по низким показателям браконьерства в 60–70 годы прошлого века сравнительно с 1990-ми годами и вплоть до начала нынешнего столетия. Тогда влияние климатических условий на колебания численности копытных было, фактически, единственным фактором. В 90-х годах этот фактор также действовал, но браконьерство было катастрофически определяющим.

Преклонный возраст

Попытка призвать казачество к охране заповедника

Убедившись в наличии силы, разрушающей заповедник, и вспомнив, что раньше казаки надёжно охраняли «Царскую охоту», я решил попытаться призвать казачество, возрождающееся на Кубани в прежней функции поддержания порядка, к защите заповедности. Для этого пришлось вспомнить легенду о моих казачьих корнях, тем более что почти все казакующие личности к казачеству никогда не имели отношения, здесь были личные экономические интересы. В чём они заключаются, я понял позже. Но сейчас мне нужно было найти инструмент «казаческого» характера для защиты заповедника. В этом мне помог Дмитрий Владимирович Куликов, создавший рядом с управлением заповедника небольшое казачье общество по названию «Возрождение». У общества была своя печать и официальное признание. Он сам ко мне пришёл, как-то узнав о моей «казаческой» легенде: вероятно, я где-то проговорился.

Ясауп, атаман общества «Возрождение»

Сочинские казаки и космонавт Севастьянов

Мне предлагалось войти в общество «Возрождение» и стать его заместителем в должности и звании есаула. Имея здесь серьезные намерения, пришлось согласиться. Это казачье звание соответствовало армейскому чину майора. Но у общества, однако, были серьёзные проблемы – его пыталось поглотить имеющееся в Адлере более многочисленное общество казаков во главе с отставным подполковником, а Куликов не имел воинского звания и был только юристом, адвокатом. Поэтому он попросил меня стать атаманом общества (всё-таки доктор наук, профессор), а он будет моим помощником, ведя все дела по обществу. Пришлось согласиться и выдержать всю процедуру призвания в атаманы, где участвовал священник сочинской церкви. В общем-то, я готов был влиться с нашим обществом в более многочисленное и на многое претендующее общество. Но, побывав на их собрании с предложением защиты заповедника, убедился, что общество это не интересует – их, как «репрессированный народ», интересует торговля, освобождённая от налога. Неимоверная чушь, поскольку в Красной Армии существовали целые казачьи дивизии. И вспомним уже послевоенный советский фильм «Кубанские казаки». Репрессировали тех, кто служил в вермахте и СС и проявил себя как антисоветчик. Чтобы быть «подкованным» в казачьем деле, я перечитал много литературы о казаках, по истории возникновения казачества.

Перипетии судьбы

Поскольку я уже выполнил задачу Тимухина, подготовил диссертацию, и он её защитил, к тому же я мешал ему проворачивать его воровские делишки, – он решил от меня избавиться. Но как? Очень просто – подделкой документов. Заканчивался год моей работы в заповеднике, и он подменил свой старый приказ новым, где я оформлен лишь на год. Ровно в день моего приезда в Сочи год назад я был уволен. Это было такое нахальство, что даже его друг, председатель адлерского суда, обалдел. «Здесь уж такой ляп, что хоть я и хотел бы помочь Тимухину, да не могу – слишком очевидна подделка. Известно, что оформление по переводу делается не на какой-то срок, а на постоянную работу». Он при мне позвонил Тимухину и спросил, есть ли на его приказе подпись Сетрова. Тот сказал, что подписи нет. «Тимухин, поставь всё на место, а то всё будет плохо», – сказал Тиводар. А приставленный ко мне адвокат добавил: не выходите на работу, пока не позовут. Звать пришла целая делегация во главе с начальником кадрового отдела. А Тимухин в качестве компенсации не только униженно извинялся, но и повёл меня в ресторан. Ведь я мог подать в суд за подделку и потребовать компенсации за моральный ущерб. Но я не стал ерепениться, ведь нужно было дальше работать и делать дело. Но делать его стало всё труднее, так как научный отдел сокращался, а Тимухин совсем распоясался.

Ко мне пришла вся группа оперативного отдела с жалобой: они сами отремонтировали необходимый им для работы «газик», а директор его «приватизировал». Я с возмущением обратился в бухгалтерию, но бухгалтер сама возмутилась: «Вы ведь сами подписали приватизацию!» Мне стало аж нехорошо: «Я не подписывал!» Бухгалтер показывает мне подпись на документе. Я с возмущением: «Это не моя подпись, он её подделал». Однажды зайдя в управление Рощи, я не увидел стоявший рядом с конторой альпийский домик – подарок заповеднику международной конференции по экологии в Будапеште. Спрашиваю, где домик. Отвечают: списали на дрова. Вскоре узнаю – домик высится на даче Тимухина. А ведь домик был у нас гостиницей для приезжих. И это не говоря о превращении на кордоне Лаура дома для учёных в дом охотника, где «кировало» семейство Тимухина, а австрийские охотники в заповеднике распевали тирольские песни и стреляли, конечно.

Всё это подвигло меня на поездку к министру экологии с жалобой с представлением более 10 уголовных преступлений в

заповеднике и с просьбой прислать комиссию для расследования. Министр помочь не обещал, но комиссия приехала, однако для разборки не дел в заповеднике, а… работы научного отдела. В работе его, при всём старании, ничего плохого не нашли, а о заповеднике в резолюции было сказано, что он управляется отлично, а директор молодец. Вскоре этот экологический разбойник получил звание заслуженного эколога. Одному из членов комиссии я сказал, что они мафиози, а тот и не отрицал этого: дескать, мафия тоже вид управления. И даже иронизировал по поводу моей наивности, проявившейся и в том, что министру я отдал первый экземпляр списка преступлений, а не копию. Они его уничтожили.

Конечно, будучи в Москве у министра экологии, я зашёл и в отдел заповедников к его начальнику с жалобой, имеющей уже некоторый политический оттенок. Дело в том, что мы с директором были приглашены «правительством» Адыгеи для переговоров. Эти кавказские самостийники хотели иметь свой заповедник и предлагали Майкопский отдел Кавказского заповедника превратить в самостоятельное отделение с «присвоением» ему соответствующей территории нынешнего заповедника, со своим управлением и охраной. Более того, они предлагали путём обмена частей территории Адлерского и Майкопского районов, в пределах которых находится заповедник, Майкопский район, а, стало быть, и Адыгею, территориально соединить с Абхазией. Такие вот замашки. «Президент» и «премьер» сидели рядом за столом под сенью зелёного знамени пророка и пёстрых гербов. Тимухин, какой-то ужатый перед этим великолепием, во всём соглашался с ними, я возражал, заявив, что нельзя делить уже сложившийся единый биологический комплекс на части, а передел территории районов не в нашей компетенции. На мои возражения «премьер» с угрозой в голосе сказал, что они давно знают, кто в заповеднике их противник. Отдел заповедника был позже переименован в отделение, но территорию всё же не делили – это было компетенцией не министерства экологии, а Совета безопасности, да и ФСБ возражала (они мне звонили по этому поводу). Впрочем, позже отделение было переименовано в отдел. Позже, отчаявшись, я официально, ещё как зам по науке, переслал список преступлений и нарушений заповедности Генеральному прокурору Ильюшенко. Тот отреагировал сразу же, прислав грозное письмо местным властям с требованием немедленного расследования, но те дело полностью замазали. Самого же Ильюшенко, как я писал, уже московские власти в лице того же Ельцина подставили, обвинив в коррупции, и посадили в тюрьму – его письмо задевало и

президента. Адлерского прокурора мафиози избили, привязав в милиции к батарее, а я был уволен «по сокращению штатов». Это уж вообще был открытый произвол, поскольку должность зама по науке, как и должность директора, были вписаны в Положении о заповедниках в качестве основных, а Положение утверждено Советом безопасности. Я подал в суд. Суд вёл не Тиводар, а какая-то его помощница. С Тимухиным сидела дама, представительница местной прокуратуры, и мило беседовала с обвиняемым. Главным аргументом против меня была государственная телеграмма (она была красного цвета) мафиози Амирханова. На его кабинет министр кивал мне, шепча: «Мафия!» А Тимухин изрёк: «Да что Сетров, он же философ!» Я возразил ему, дескать, почему же философ тебе писал диссертацию, а ты, биолог, этого не мог сделать сам? А потом я им выложил всё, что думал о них. Зато потом он мне пообещал: «Сдохнешь под забором!»

Судья, как потом я узнал от неё же, была на моей стороне, но сделать ничего не могла. Правда, позже, когда я запоздал с апелляцией, она уже оформила её задним числом. В апелляционный суд я ехать не собирался, понимая бесполезность этого, да и приглашение мне не прислали, так что решение Адлерского суда они проштамповали автоматически. Для меня настали трудные времена. Воспользовавшись моим увольнением из заповедника, мой сосед по дому Арушунян потребовал покинуть его полудом. А я потребовал, чтобы он покинул мою квартиру на кордоне. Тот: «Она уже не твоя». Я: «Как же она не моя, если я там прописан?» Добрый сосед: «Как прописан?!» – «Обыкновенно. И ордер на квартиру имеется». Потом ещё он долго не освобождал мою квартиру, в которой я и сейчас прописан, а я жил в его полудоме. К счастью, я успел к тому времени не только выписаться из одесской квартиры, получить российское гражданство, но и прописаться на кордоне.

Выход из трудностей

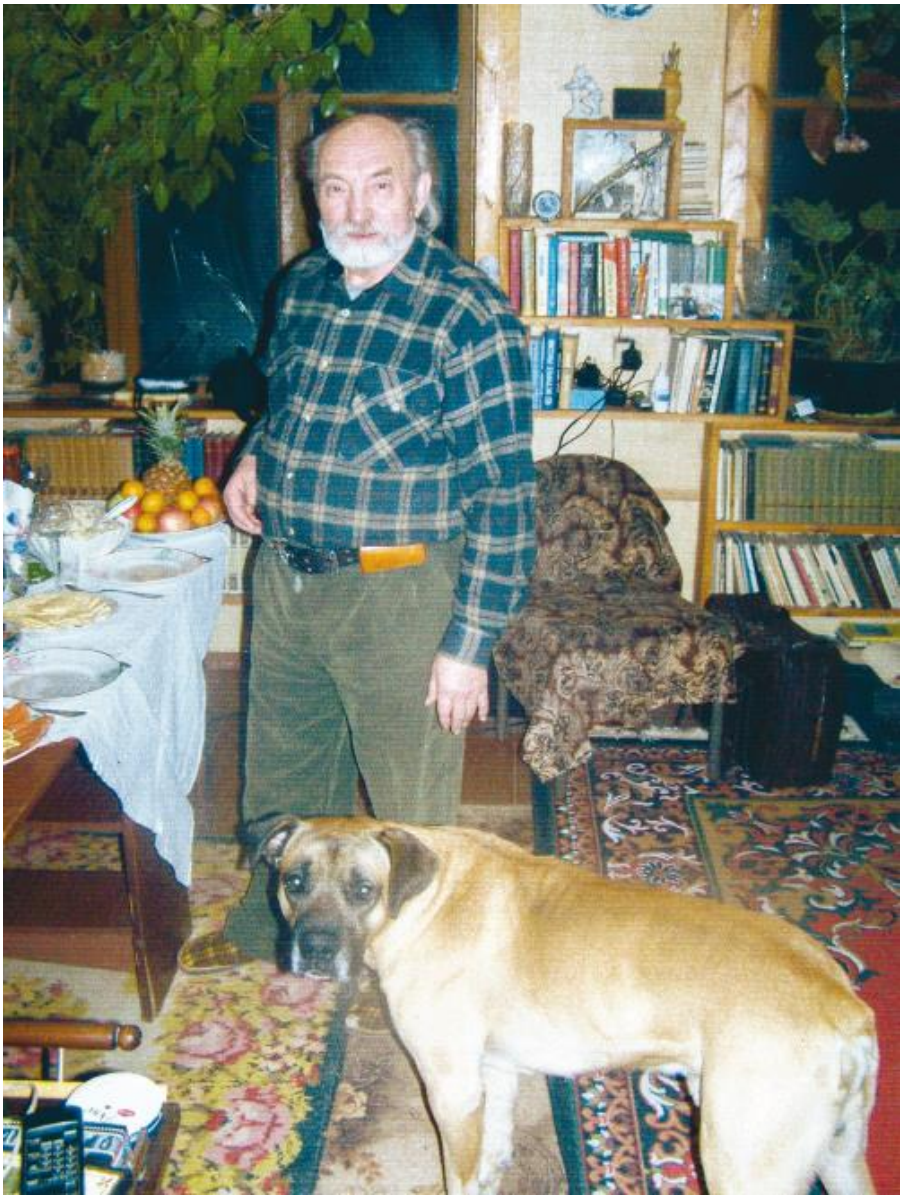
Моё финансовое положение наладилось, когда меня, как профессора, с распростёртыми объятиями приняли в только что открывшийся филиал московского института экономики и предпринимательства в качестве проректора. Тимухин и вся мафиозная братия, уволив меня из заповедника, бросили, как ту щуку в реку. Тогда уже рубли превратились в тысячи, а при растущей безработице профессора и доценты были нарасхват – ведь частные вузы росли как грибы в дождливую погоду. Если в заповеднике я получал 300 тысяч в месяц, то теперь мне платили 3 миллиона, т. е. в десять раз больше. Поэтому я не только отремонтировал «по-европейски» квартиру на кордоне, но и купил, хоть и старенький, «мерседес»-дизель. Пришлось, конечно, пройти курсы водителей и учиться водить в толчее улиц автомобиль. Что касается этих новых вузов, то там почти естественно возникла грызня насмерть. Адлерскую мафию, например, не устраивало, что она ничего не имеет с существующего у них под боком учреждения-курочки, несущего, как тогда говорили, даже не золотые, а платиновые яички. Поэтому уже через год прежний директор был смещён, а мафиози Асатуров (Асатурян) поставил вместо хоть что-то соображающей преподавательницы молодую женщину из своих канцелярских служащих, совершенно далёкую от преподавательской работы. Она абсолютно не умела говорить со студентами и иногда, запутавшись в словах и махнув рукой, со слезами уходила с трибуны. Мне было жаль её, и в подобном случае я становился вместо неё. Но так долго продолжаться не могло, и я уволился, поступив вскоре в филиал РГПУ, что возник на улице Макаренко в здании бывшего педагогического училища. Здесь, как просто профессор, я получал меньше, но работа была спокойнее и меня это устраивало. Ставленница Асатуряна позже, как я слышал, погибла: какие-то семейные неурядицы. К ней вроде как подослал киллера её муж, майор адлерской милиции. Я встречал его раньше – у него была разбойничья физиономия, я об этом ей как-то сказал, но она уверяла, что он добрый человек. Киллера всё же нашли, и майор оказался в тюрьме, а двое её детей остались сиротами. Такая вот судьба красивой и молодой женщины (её дети были от другого мужа).

Татьяна Князева

Татьяна, Света и мои внуки у входа на кордон

С кошкой играем в шахматы

Я, мой внук Олег и мои собачки



Я с моим самым верным псом Малышком

Жители кордона в Новый год

Роза во льду в январе

А война с моим соседом по дому продолжалась. Он долго не мог освободить моей квартиры, потому что она была забита ворованными на складе отдела снабжения сочинских курортов вещами: кипами шерстяных одеял, пачками постельного белья, дорогой резной мебелью. Но он всё же где-то всё это сбыл и на эти деньги купил… фабрику курортных товаров в Адлере. Как за это барахло он мог купить целую фабрику? Очень просто. Они фабрику предварительно растащили и полуразрушили, проломив

крышу здания. Стандартный приём наших прихватизаторов тогда; гибли фабрики и заводы… Но, поскольку Арушунян умел воровать, но не умел работать и управлять, он не смог наладить дело и «прогорел». Однако от продажи убыточного предприятия деньжонки у него всё же остались. Они с Тимухиным, будучи связанными воровскими узами, провернули «дельце»: Тимухин продал ему за бесценок (за взятку, конечно) двухэтажный дом бывшего управления заповедника в Хосте. Даже в еженедельнике «Сочи» писали, что подобная сделка заведомо является преступной со стороны директора Тимухина и покупателя, поскольку они обокрали заповедник, а стало быть, и государство: большой двухэтажный дом с собственной котельной, земельным участком с парком стоит не сто тысяч рублей, а не менее 10 миллионов.

Дело о вырубке в заповеднике целой рощи краснокнижного съедобного каштана было приостановлено, но не закрыто, а поэтому над преступниками продолжал висеть дамоклов меч правосудия. Участником преступления был и мой сосед по дому Арушунян: он занимался вывозкой и продажей дорогой древесины. Часть её была отправлена (целый КамАЗ) на дачу Амирханова в Подмосковье, а часть в виде досок и брёвен оказалась, как я позже узнал, буквально около кордона, на участке, присвоенном Арушуняном. Их я видел давно, но не знал, что это каштан. Об этом мне сказал другой сосед слева, Бронислав Фомин, бывший лесник заповедника, ходивший в казачьей форме. Он был воинственный человек, так что в период абхазско-грузинской войны в ней участвовал, был контужен, но выжил, привёз с войны автомат Калашникова и гранаты. ФСБ об этом дозналась, но уличить его не смогла – оружия не нашли, он успел его куда-то сплавить, видимо продал. Он мне даже показал, где он его сперва прятал – в закопанной трубе в саду. А о каштане Арушуняна он мне сказал случайно, таская доски для ремонта квартиры. Доски мне тоже были нужны, и я спросил: что это за доски и где он их берёт? Он сказал, что это каштан, а берёт он их потихоньку со склада Арушуняна. Там и брёвна каштана. Я был поражён нахальством «соседа справа». Тут же осмотрел брёвна, их сфотографировал даже на нижнем конце одного, наиболее выразительного по конфигурации среза бревна, отпилил его. Это был неоспоримый «вещдок» для следствия, тем более если найти в заповеднике соответствующий пень. Но через день ни досок, ни брёвен уже там не было – их ночью по-тихому вывезли. Кто меня выдал? Конечно Фомин. Он тесно общался с Арушуняном, будучи у него на побегушках, его «шестёркой».

Но тот запаниковал и решил продать свою шикарно

оборудованную, с большой теплицей, сауной и гаражом, давно приватизированную (незаконно) квартиру и тем самым избавиться от опасного соседа. Об этом я узнал тут же: стены в доме были тонкие, и я слышал, как соседи ссорились по поводу отъезда с кордона. Жена Арушуняна кричала ему, что она не хочет покидать кордон, что это его личные отношения с соседом, а её не касаются. Вероятно ввиду незаконности приватизации, Арушунян избавлялся от квартиры странным способом: он обменял её на квартиру в Чебоксарах. У меня появилась молодая соседка, девушка с высшим образованием, преподаватель математики. Оглядевшись, она вскоре предложила объединить наши хозяйства. Каким образом? А очень просто – поженившись. Я возразил, что у нас слишком большая разница лет, и брак не состоялся, но она и потом при встрече висела у меня на шее.

Вообще, такое объединение хозяйств мне предлагали почти все девушки и женщины (в том числе и замужние). Каждой, похоже, очень хотелось стать профессоршей. Был и такой курьёзный случай: ко мне пришла дочь соседа из другого дома на кордоне. Оглядев мою квартиру, она сказала: «Михаил Иванович, вам нужна жена». Я: «Зачем?» – «А вот у вас паутина». Взяв метлу, я быстро смёл паутину. Где проблема? «А я умею борщ варить». В ответ: «Я тоже умею, но к нему равнодушен». – «Я буду вашим водителем». – «Зачем? Я машину сам вожу. И вообще, что ты хочешь?!» Та почти драматически: «Михаил Иванович! Я вас люблю. Вы мне снитесь». Я: «Может тебе мой мерседес снится?» Та: «Вот вы всё шутите, а у меня серьёзно». – «Девочка, прости, но подумай – тебе ещё семнадцать лет, а я пожилой мужик. Смешно получается». Та, плача, ушла, а позже не раз просила отвезти её с сестрой на дискотеку, что я и делал.

Я продолжал работать в филиале РГПУ, но тут как-то ко мне на «волге» нагрянула заместитель директора Сочинского научно-исследовательского центра Российской академии наук Светлана Ивановна Мишулина, предлагая у них работать. Предложение было лестным, и мы поехали на встречу с директором, доктором экономических наук по фамилии… Амирханов. По национальности он был обрусевшим татарином и, по его словам, родственник Юсуповым. Я спросил, не родственник ли он Амирханову из министерства экологии, тем более что направление работ Центра была экономика экологии. Тот ответил: «Не я ему родственник, а он мне родственник». Я коротко рассказал ему о работе в заповеднике, о борьбе за него, то, что я был уволен по «сокращению штатов». Он: «Ничего, того начальства уже нет». А на мой рассказ о работе по

моделированию воскликнул, обращаясь к Светлане Ивановне: «Но это же то, что нам надо!» И я стал по должности главным научным сотрудником Центра. Не только кабинета с телефоном и компьютером, положенного главному научному сотруднику, но даже своего стола и стула у меня в помещении СНИЦ РАН не было – я работал дома на приобретённом за свой счёт ноутбуке, был, так сказать, надомником или, как теперь говорят, на удалёнке. Меня это устраивало. Но когда приехала очередная комиссия, начальство засуетилось, показало мне стол с компьютером и стул – дескать, если спросят, на время комиссии это ваше место. Их спросили, где кабинет главного научного сотрудника Сетрова, и те показали якобы мой стол. Но я врать не стал и сказал, что работаю дома в своём кабинете. Те, было, сперва озаботились этим фактом, но я им объяснил, что по характеру своей работы (философия!) мне для размышления нужна тишина и чтоб постоянно не отвлекали от сложных мыслей. «Комиссионеры» со мной согласились, и моя работа надомника была узаконена, чем было удовлетворено и моё начальство.

Небольшой старинный двухэтажный особняк на Театральной улице, где располагался наш Центр, обнесён железной оградой, имеет свой двор и небольшой сквер. За оградой слева находится такой же особнячок городской прокуратуры, справа через полквартала высится сочинский Зимний театр, а сразу за Курортным проспектом – очень основательное здание местного отделения ФСБ. В общем, место уютное, но наш особнячок был маловат для разросшегося Центра. Спасало только то, что наиболее представительные сотрудники Центра были полставочниками и у нас в помещении не нуждались. Работая дома, я с сотрудниками общался только на заседаниях Учёного совета, проходивших раз в месяц, а то и реже. Более часто мне пришлось бывать в Центре только после того, как Амирханов у нас организовал учебное заведение – платный «Эколого-экономический университет». Тогда каждая учебная забегаловка становилась университетом или даже «академией». Я, став заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин (третья кафедра, которую я создавал), оставался и главным научным сотрудником, но уже на полставки, поскольку завкафедрой мог работать только на полной ставке. Зарплата моя увеличилась, но и забот стал «полон рот».

С Амирхановым я встречался редко и только «по делу» (он фактически жил в Москве и в Центре бывал нечасто). А вот с новым его заместителем по науке Гарником Айкарамычем Симоняном мы просто сдружились и встречались часто, в

основном обсуждая политические события в стране и в мире. А о нашей работе этот зам по науке прямо говорил, что мы не делом занимаемся. В этом, да и в оценке политических событий, мы были солидарны. Он был доктор экономических наук и… подполковником ФСБ; рассказывал, что ещё лейтенантом выполнял поручения Горбачёва. В частности, об одном довольно неприятном поручении генсека, которое он не выполнил. Нужно было дискредитировать и убрать какое-то лицо. Но его непосредственный начальник приказал поручение не выполнять, а только сделать вид, что оно выполнено. Так и было сделано.

Ещё в филиале РГПУ я познакомился и даже подружился с доцентом Юрием Николаевичем Саловым. Он с семьёй приехал из Сибири, знакомого мне Бийска, заштатного городка, где, оказывается, теперь мощный химкомбинат, а при нём даже институт. Уехали они, спасаясь от химизированной экологии. До приезда семьи он жил у меня. Как говорила его жена – Салова в Бийском институте студенты «на руках носили». Я, правда, позже в этом усомнился. Он обо мне, как учёном, был высокого мнения, но не на основании моих работ – он их не знал, а после встречи в Москве в Публичной библиотеке («Ленинке») старого знакомого. Когда он сказал встреченному приятелю, что сейчас он пока живёт у профессора Сетрова, тот удивился: «А что, он разве ещё жив? Я же по его работам диссертацию написал». Тогда Юрий Николаевич был в Ленинке, готовя докторскую диссертацию, которую он вскоре защитил, а потом и профессором стал. Но ещё до этого он читал у нас курс культурологии, а также был членом комиссии по приёму кандидатского экзамена по истории и философии науки, что я читал нашим аспирантам.

Но тут однажды в нашем святом семействе произошёл скандал. Один из моих студентов по фамилии Потёмкин был парнем неуживчивым и мешал преподавателям, вставляя в их лекции свои «пять копеек» и некстати задавая «вопросики». Так он вёл себя и у меня на лекции. Однажды он разозлил меня, и я ему крикнул: «Потёмкин, заткнись!» Он тут же заткнул уши и стал слушать музыку. Ну, тут я взбеленился, подошёл к нему и, схватив его проигрыватель, выбросил его в открытое окно во двор. Тот завопил: «Вы разбили мой аппарат!» А я ему: «Я разобью тебе голову!» – «Но вы же сами велели заткнуться». – «Я велел тебе заткнуть рот, а не уши». – «Но, Михаил Иванович, я же кэвеэнщик». Вот такая произошла перепалка профессора со студентом. Ну, думаю, всё, теперь Потёмкин мой враг навеки. А тут я у начальства попросил две недели отгула, не помню уж зачем, а лекции попросил Салова почитать – вместо философии его культурологию. Через неделю пошел в Центр за получкой.

Иду по Театральной к нашему особняку, смотрю: на улице у калитки толпятся студенты. От толпы отделяется один и, раскинув руки, бежит мне навстречу. Кричит: «Михаил Иванович!» Вижу – да это же Потёмкин! «Ты чего кричишь?» – «Михаил Иванович, мы вас потеряли». – «Чего терять, вам лекции читают». – «Да не хотим мы эту муть слушать. Там даже подумать не о чем». Я: «Потёмкин, ты ещё и думаешь?» Он: «А как же, конечно думаю!» Поднимаюсь по лестнице к канцелярии – навстречу Амирханов, говорит: «Бунтуют!» Я: «А чего бунтуют?» – «Вас требуют – куда, мол, дели Михаила Ивановича, верните его обратно!» Тогда я ему сказал, что на следующей неделе выхожу на работу. И понял, что зачинщиком бунта был Потёмкин. Он, говорят, позже стал одним из помощников главы сочинской администрации. А бедняга Салов несколько позже умер от диабета. Вероятно, его болезнь влияла и на качество лекций.

Между тем у моей молодой соседки на Ставрополье умерла бабушка, и она, продав квартиру на кордоне, уехала принимать наследство. Вместо неё у меня появились хотя и добрые, но шумные соседи. Стены были тонкие, и я был посвящён во все их ссоры с матами, шумные застолья, а иногда и драки. Работать стало сложно, тишина, к которой я стремился, исчезла. И тогда я задумался о необходимости отдельного домика. Этому решению мне помогла покупка бывшей недалеко от кордона (300 метров на пути вниз к Хосте) пасеки с домиком и пустыми ульями. Пасека находилась на большом заросшем участке старого дома (постройки 1905 года), потерявшего своих хозяев после смерти последнего владельца. Собственно, хозяином дома стал пасечник по фамилии Хрисаненко, хотя ветхий дом его не интересовал. Так что, покупая домик пасеки с земельным участком за три миллиона рублей, как своеобразную пристройку или флигель дома, я покупал и дом. Дом по его ветхости меня тоже не интересовал: под тяжёлой шиферной крышей, со сгнившими брусчатыми стенами, он мог в любой момент рухнуть и задавить там живущих. Тогда в нём жила с сожителем моя старая знакомая Татьяна Князева, и дом по их небрежности сгорел. Сожитель вынес Татьяну, задохнувшуюся от дыма, в одной рубашке – всё её имущество сгорело. Там были и мои вещи: книги, например, посуда, электрическая духовка, стиральная машина и кое-что ещё – всё, что я ей дал для проживания в доме. Теперь она оказалась в дачном домике её подруги, прямо за проездом, отделявшим его от моего теперь участка и домика пасеки. К ней пристроился жить Геннадий Возба, абхаз по национальности. И они позже, когда Татьяна восстановила душевное равновесие, даже ремонтировали мою квартиру на кордоне. Впрочем, о ней особый разговор.

Моя первая жена Любовь Георгиевна, которой я оставил купленную мной кооперативную квартиру со всем имуществом, жила одна. Я иногда, приезжая в Ленинград, даже жил у неё, и мы общались как старые друзья. Я ей предлагал выйти за кого-нибудь замуж, но она заявила, что она Любка-однолюбка. Действительно, она продолжала меня принимать так, что будто мы и не расходились. Когда однажды я зашёл в ванную комнату, обнаружил, что мои резиновые сапоги чистыми стоят там же, где я их поставил много лет назад. Да что там сапоги: на бывшем моём письменном столе всё лежало так, как я оставил когда-то, и стоял мой большой портрет.

Как многие тогда, она ударилась в религиозность и даже работала некоторое время в монастыре на Валааме машинисткой. Но здоровье её быстро ухудшалось. Ещё в бытность нашей совместной жизни у неё побаливала поджелудочная железа. Я, голодая в лечебных целях, предлагал ей присоединиться ко мне. Ведь у меня тоже назревал панкреатит, о чём мне сообщали врачи академической поликлиники. Я спрашивал их, как же его лечить. Они предлагали мне есть винегрет и пить кефир. Это я и без них знал. А как реально от него избавиться, они сами не знали. Ну а о лечебном голодании они и не слыхивали. Я перестал к ним ходить, а тут мне попалась книга Николаева (между прочим – из Майкопа) «Голодание ради здоровья». Я стал голодать по Николаеву (появились и другие книги – например, американского врача Брегга с характерным названием «Чудо голодания»). Через две недели все мои болячки исчезли, а добрые врачи определили мне жить ещё 15–20 лет. А я к ним не хожу уже более 50 лет и пока вот жив.

Страх перед голодом, можно сказать, исторически в народе силён, да и всё же сила воли нужна. Этот страх у моей дорогой Любы, бывшей блокадницы, был сильным, и потому она умерла раньше времени, категорически отказываясь голодать со мной, так что я, голодая, ей с Севой готовил еду. Я вообще уверен, что если бы наши врачи знали и хотели применить метод голодания, не все, но многие жители блокадного Ленинграда выжили – даже и того мизерного пайка, что они получали, было достаточно для выживания. Они неправильно голодали и неправильно использовали свой паёк: нужны были знания на этот счёт и, конечно, сила воли. Когда в туристских целях да из ностальгии по Северу, я полетел в Мурманск с пересадкой в Ленинграде, то зашёл к ней в больницу, где Люба уже лежала с крайней формой панкреатита. Она очень была обрадована и потом всем об этом рассказывала. Последний свой Новый год она встречала у меня на кордоне вместе с приехавшими моими одесситами. Она за

праздничным столом была в красивом шерстяном платье и сделанным мной янтарным ожерельем на шее. Одесситы вскоре уехали, а она осталась у меня жить до дня своего рождения – 24 января, с удовольствием грелась у камина и даже в солнечные дни у гаража на солнце. «Как хорошо!» – восклицала она. Но здоровье её всё ухудшалось, она уже ела с трудом и хотела полечиться у сочинских врачей. Но я ей объяснил, что они лечат только здоровых курортников, а сами едут лечиться в Москву. Купил ей билет на самолёт и отвёз в аэропорт, буквально посадив в самолёте на её место и предложив экипажу вызвать в ленинградский аэропорт скорую помощь. Машину вызвали, и она отвезла её вместе с встречавшей родственницей домой. На следующий день она уже была в больнице имени святой Ксении Петербургской, где через два дня успокоилась навечно. Её как блокадницу похоронили, кремировав, за счёт города, а родственникам выдали урночку пепла – всё, что осталось от моего самого верного человека. Потом мы уже всей семьёй эту урну ритуально закопали в могиле её брата, сестры, отца и матери.

Никольский собор, где молилась Ольга Фёдоровна, а потом её отпевали

Задуманный дом строился долго, с перерывами, – трудно было с транспортом. Крупные грузы, вроде цемента, балок и длинномерных досок, привозились на вездеходных КамАЗах и даже КрАЗах. А из-за мелочи, вроде печного оборудования, гонять

самосвал было бессмысленно. Легче стало, когда я, продав полученный еще в заповеднике дачный участок, купил подержанный японский джип марки «Ниссан-тирана», дизельный, турбо – мощная машина с автоматикой, но с правым рулём («Нива» была в долгом ремонте). На участке, приватизированном даже без моего ведома (под документом стояла подпись мафиози Асатурова), я вначале и начал строить домик. Сам, лишь с одним помощником, и домик уже был под крышей, но его всё же пришлось разобрать и материал отвезти на кордон, где я из него построил гараж. Достроить дом мне помешали воры. Когда я через день-два приезжал на свою стройку, то оказывалось, что дверей нет и заготовленный материал исчез. Тогда я и стал строить дом вместо сгоревшего дома на месте домика пасеки, слишком маленького и уже подгнившего. Строить мне помогали Геннадий Возба и сосед по кордону Морозов, за хорошую плату, конечно. Строители оказались неумелыми и ленивыми – после них приходилось потом многое перестраивать. Дело пошло лучше, когда я пригласил другого соседа Сашу Степанова и его зятя Вадима. Но примерно четверть столярных работ пришлось делать самому: купил столярный станок и на нём обработал все доски. А потом ими обшивал дом внутри и даже вставлял купленные рамы. Правда, мой великолепный печник Игорь Ховрин, построивший красивую большую печь и маленький камин на втором этаже, увидев вставленные мной рамы, спросил: «Это кто делал? Руки бы ему обломать». Я молчал, поскольку руки будут ломать мне. Игорь по-новому вставил рамы, остеклил их и делал много других столярных работ, а его племянник Андрей стал верным сожителем Татьяны.

Мой новый дом был двухэтажный, общей площадью 72 кв. метра, с балконом, встроенным шкафом, кладовой и ванной комнатой с туалетом. Плиточные работы, установку ванны и водонагревателя делал также Игорь, мастер на все руки, сибиряк-томич, музыкальный человек, сам играющий на гитаре. С этим помощником мне повезло.

Архитектором, инженером-конструктором и прорабом стройки дома я был сам. Говорят, получился неплохой коттеджик. А моя невестка Света, сама архитектор, увидев впервые дом, спросила: кто архитектор? Я, горделиво ударив себе в грудь, сказал: я. Она даже предлагала, сделав проект дома, продать его. А пришедшая впервые лесничий нашей рощи, Юлия Андреевна Ерофеева, воскликнула: «Это что за сказочный домик здесь возник?!» В «сказочном» домике оказались и свои недостатки. Я ошибочно утеплителем стен под внутренней деревянной обшивкой стен вагонкой собственного производства положил не

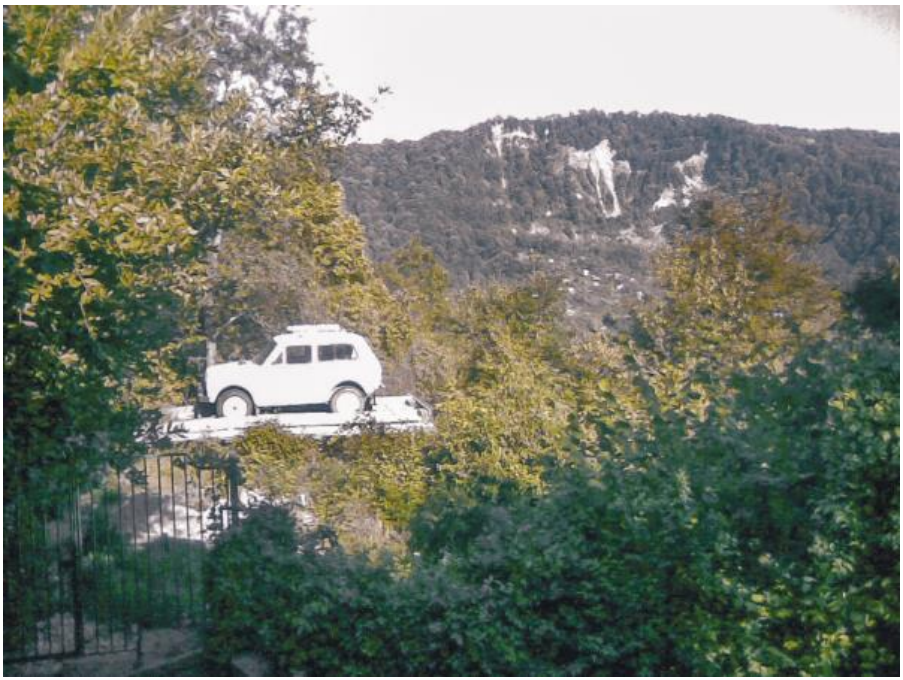
стекловату, как надо бы сделать, а плиты более дешёвого пенопласта. Крысам и крысо-белкам (соня-полчок) почему-то нравится его грызть, и они его измельчили, превратив в крошку, а в этой крошке устроили гнёзда. И утепление дома исчезло. Электрическую проводку я сделал от квартиры на кордоне, а проблему с водой решил по-своему. Раньше кордон снабжался водой из городского водопровода путём подкачки. Двигатель испортился, а ремонтировать или купить новый заповедник отказался. Жители кордона собрали миллион рублей, а сводный сын Арушуняна купил на эти деньги или просто где-то добыл подержанный движок, но тот оказался слабым и насос не крутил, а мы опять остались без воды. Кое-как проложили в наш бак-накопитель трубу из пруда, что был выше кордона. Но вода была не чистой, «технической». Однако и та вскоре исчезла: на побережье наступила трёхмесячная засуха, и пруд высох. Тогда я как-то сказал своему соседу Брониславу: дескать, пойдём искать воду. А он: «Какая тут вода. Мы сорок лет здесь живём, но никакой воды, кроме пруда, не видели». Я возразил, что они и сто лет могли прожить и не увидеть очевидного. «Видишь, дуб зелёный, а вокруг деревья и кусты пожухли». Тот: «Он всегда был зелёным», и воду искать отказался. Долго я ходил по горе, но недалеко от дуба поскользнулся: смотрю, земля мокрая – это на горе-то в засуху – есть вода! Сходил за лопатой и стал копать ямки: в одной показалась вода, но ещё слабо, стал копать ниже и глубже: в одной ямке вода хотя и не била ключом, но шла «прилично». Укрепил стенки расширенной ямки и от неё в поставленный ниже бачок-накопитель уложил трубку. Купил на следующий день соответствующий по диаметру и длине шланг. Протянув его до установленного выше дома в саду большего накопителя в виде ванны, а от него в дом, соединил с имеющимся в доме прежним водопроводом. К вечеру ключевая холодная вода была в кранах моей квартиры. Позже к этой системе присоединились и соседи по дому. Во всём доме в засуху появилась вода.

Такой же водопровод я устроил и в своём новом доме, только здесь повозиться пришлось больше. Найденный тем же способом источник воды на горе был гораздо выше (около 300 метров от дома). Да и найти его признаки, а тем более докопаться до его выхода в скале было очень трудно. Мне пришлось выкопать целую траншею и глубокую яму, прежде чем я обнаружил выход в расщелине известняка маленькой струйки воды, но её было достаточно для накопления за сутки нужного её количества. Внизу, но несколько выше дома, был создан бетонный, двухкубовый накопитель (его сооружал сосед Морозов, как,

впрочем, и почти такого же объёма отстойник для моей канализации). Татьяна и Андрей стали получать от меня бесплатно не только электричество, но и воду. С отстойником, сооружённым Морозовым, произошла курьёзная неприятность: его корова, как-то пробравшаяся в мой сад и бродя по нему, провалилась в этот отстойник. Мы с Морозовым и ещё тогда соседом Возбой долго возились, пока не вытащили её принесённой мной лебёдкой.

Архитектор, инженер-строитель, прораб и плотник

Дом готов, можно жить



Вид с лоджии

Камин в спальне

Второй этаж. Кабинет

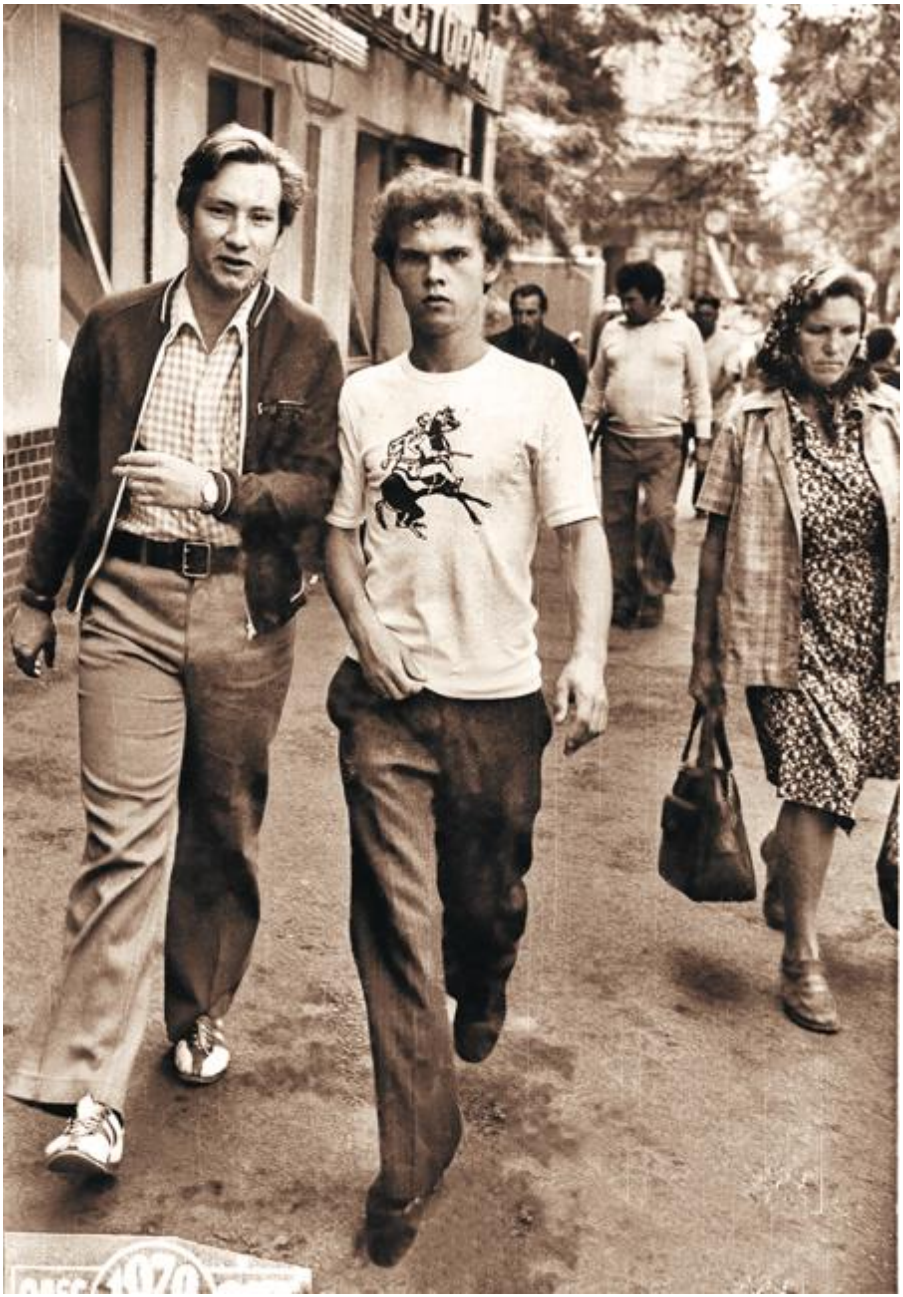
В Центре я выполнял его программу по направлению экономики экологии. А свою «Белую книгу о России», задуманную в период распада СССР и контрреволюции Ельцина – Гайдара, писал с перерывами в свободное время, которого было мало. Поэтому только в 2007-м её закончил, а через год опубликовал. С публикацией у меня возникли проблемы. Вначале я пытался, как сотрудник Академии, опубликовать её в издательстве «Академкнига». Но издательство печатало только 300 экземпляров книги, причём не более 20 печатных листов. Это меня не устраивало, поскольку моя книга была аж в 90 печатных листов, да и тираж был мизерным – прежние основные мои книги были напечатаны в той же «Академкниге» гораздо большим тиражом. Решил напечатать за свой счёт хотя бы тиражом в 3 тысячи экземпляров. А когда узнал цену публикации, то ахнул: таких денег у меня не было и в помине – требовали более 300 тысяч рублей. Пришлось обратиться к своим одесситам, поскольку они сдавали мою приватизированную квартиру. Но свободных денег у них не оказалось: полученные от сдачи квартиры деньги они сразу тратили, и делали это много лет. Тогда я сказал, что продам квартиру, – книгу я должен напечатать. Это их не устраивало, поскольку сдача квартиры давала хороший доход. Стали искать деньги и нашли! Здесь реальную активность и более внимательное отношение к моей

проблеме оказала Света, а не мой сын Сева. Она нашла деньги, причём в долларах. Их хватило, чтобы в типографии МГУ в Москве напечатать задуманные 3 тысячи экземпляров. Издательство ЧеРО, имевшееся в МГУ, оказалось банкротом и мою книгу не отредактировало, так что в ней оказалось много погрешностей орфографического свойства. Продать удалось только около тысячи экземпляров, так как своей базы в Москве у меня не было, а обанкротившееся издательство продажей книг уже не занималось. Да и Интернет подорвал интерес грамотного обывателя к книгам, особенно к научным. Спросом теперь пользовалась литература эзотерического содержания и про шпионов. Так что около 2 тысяч экземпляров «Белой книги» о России и сейчас лежат у меня в гараже, ожидая своего часа, если он вообще наступит. В Центре моя книга была принята хорошо, так что она в кабинете директора стояла рядом с грамотами. А работавший у нас научным сотрудником бывший секретарь сочинского горкома купил лежавшие у нас в библиотеке 18 книг, я об этом сразу и не узнал и с покупателем не встречался. Как говорили, половину книг он роздал своим знакомым в Сочи, а половину в Краснодаре. В том числе её получил руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко. Это, по моему мнению, повлияло на репертуар хора, и он стал очень патриотическим (раньше он состоял из народных украинских песен и исполнялся в основном на украинской мове). В своих последующих книгах я часто использовал выдержки из патриотических (и критических по отношению к нашим диссидентам и нуворишам) песен хора. Этим, как я понимаю, была дана хору хорошая реклама. Так что он тут же был приглашён в Москву для выступлений в крупнейшем её концертном зале, а потом и в Кремлёвском дворце. И даже руководитель хора получил звание Героя Труда России. Репертуар исполняемых в Москве песен завершался песней с колоколами на слова небольшого стихотворения «Нет» Зинаиды Гиппиус, приведённого мной в «Белой книге» о России в качестве одного из эпиграфов.

Что же касается моих интересов, то публикация книги мне способствовала в том, что в соответствии с новыми правилами оценки успешности работы научного сотрудника, она стала определяться по объёму и месту его публикаций, и моя зарплата значительно возросла – с 30 тысяч рублей до 95 тысяч. Это и позволило мне построить не хибарку, а приличный дом, который на кадастровой карте Большого Сочи отмечен как «дачный дом Сетрова». Но новое правило оценки работы научных сотрудников при наступлении экономического кризиса в 2008 году было

отменено, так что моя зарплата с 95 тысяч вновь упала до 30 тысяч. Между тем я задумал новую книгу, более объёмную. Она должна была подводить итоги моей работы в научной и в историко-политической области. Для этого нужно было не только использовать в новой книге прежние взгляды, но и исправить что-то устаревшее, а также включить новые идеи и разработки. Для этого пришлось прежние основные книги перевести на электронный язык, в чём мне помог Сева. Он почти три месяца жил у меня с этой целью, отсканировав и исправив ошибки сканирования, которое оказалось неточным.

Здоровье Севы всё ухудшалось, причиной чему была его алкогольная зависимость и обострявшийся в связи с этим диабет. Мы пытались его лечить различными способами, но всё было напрасно – была нужна его собственная воля. А она была сокрушена в армии, когда от несчастного случая погибли все его товарищи и он сам был травмирован, главным образом психологически. Он умер осенью в Ленинграде, в городе, где и родился, перед этим уже традиционно проведя несколько дней на любимом Карельском перешейке. Для меня его смерть была страшным ударом. Надо было умереть мне, а не ему, так уж положено в жизни – родители умирают раньше детей. А он умер в 50 лет, ещё жить бы да жить. Но так рано умер он не один – многие его приятели-одногодки умерли даже раньше него. Причиной тому – состояние социальной среды и уровень её духовности: она сейчас не ставит перед молодым человеком никаких высоких целей, кроме наживы, а к этому не каждый склонен. Не был склонен к этому и Сева. Он так и говорил Свете, что готов закончить жизнь, поскольку жить нечем: сыновей вырастил, а теперь что делать? Новую книгу я назвал «Благая весть России от науки».



Сева с приятелем, однокурсником Валерием в Ухте

Сева и Света молодожёны

Сева, роспись в ЗАГСе

Сева у ЗАГСа

Сева с первым сыном Игорем у роддома в Одессе. Справа от меня вторая моя жена Наталья Виноградова

После окончания биофака с крокодилом в обнимку

Сева очень болен

Эта книга является результатом длительного моего труда. Как философ-естественник, я в научной деятельности был далёк от социально-политических проблем современности. Однако уже дезорганизационный процесс перестройки, которая, с моей точки зрения, вообще-то была необходима, но осуществлялась явно без всякого плана и вела к развалу великой страны, вызвал у меня большое беспокойство. Мной была предложена научному отделу ЦК КПСС (конкретно Рою Медведеву) программа разработки плана перестройки с уточнением её цели и алгоритма реализации. Но Горбачёву и его окружению никакие планы были не нужны, и потому на обращение ответа не последовало. Ну, а результат её в виде контрреволюционного переворота Ельцина – Гайдара и всяких там Чубайсов привёл к мысли: с системно-организационных принципов выяснить, как и почему такая

катастрофа могла случиться.

Пришлось уже с научной точки зрения проанализировать социально-политический и экономический аспекты тысячелетней истории России. И здесь обнаружилось, что она нашими нынешними «диссидентами» и западными историками с явно злонамеренными целями чудовищно фальсифицирована. Поэтому в первом томе Книги – «Историческая миссия России и парадоксы её истории», опубликованном в 2007 году, была поставлена задача непримиримой борьбы с фальсификацией нашей истории. Реакцией правительства на подобное разоблачение фальсификаторов было создание Комиссии по борьбе с фальсификацией истории.

Второй том Книги – «Философия возрождения и безопасности России» – посвящён разработке философски-теоретических и идеологических основ возрождения России как великой державы. С этой целью по принципу восхождения от абстрактного к конкретному определено соотношение таких философских категорий, как единичное и общее. Именно оно представляется подлинно основным вопросом философии, выражающим главное противоречие не только человечества, но и всей биосферы Земли. Здесь решается вопрос, что первичнее и важнее – единично-индивидуальное или коллективно-общественное. В биологии он решён однозначно – индивид подчинён сообществу и служит его сохранению. В человеческом сообществе их соотношение становится проблемой, неразрешимой до сих пор и ведущей к ожесточённой борьбе между людьми. В Книге предлагается её решение.

Сформулировано также иное понимание диалектики, которая выражает не только законы развития, но и законы сохранения в их взаимосвязи. Уточнена и преобразована философская «онтология», где основным понятием становится *Отдельное*, как элемент субстанции мира, и поэтому онтология переименована в более точное понятие – СУБСТАНЦИОЛОГИЯ. Философская гносеология также получила развитие по принципу движения к конкретному в качестве науки об информации и знании, названной Ведологией. Анализ её категорий дал возможность определить в его сущности не ясное даже в науке понятие «Сознание». Ведология является переходной ступенью к более конкретной науке об организации систем и их эффективности – Ордологии, вместе с тем представляя её важный раздел. Ордология состоит из Ордономики – науки о законах и принципах организации, и Ордометрии, как науки об аспектах организации и их формализации. Ордологический анализ её информационного, структурного, регуляционного и

динамического аспектов позволил разработать Генеральный план Мироздания в его строении и происхождении, представляющий пятую, флуктационную версию Научной картины Мира под девизом «Весь Мир на ладони».

Вместе с тем новая, флуктуационная Картина Мира, представляющая место нашего, Предельного, конечного в пространстве и времени Мира в Мире Беспредельном, бесконечном, даёт ответ на место человека в этом Мире, утверждая его бессмертие в повторении, не только духовно, но и телесно. Неизбежность этого определена именно бесконечностью Мира Беспредельного, вечно флуктуирующего с возникновением бесконечного числа разнообразных Миров. В том числе и подобных нашему, которым тоже несть числа и потому в точности повторяющихся «один к одному», где и мы повторяемся и потому бессмертны в духе и теле!

В третьей части 2-го тома Книги «Философия возрождения России», в разделе «Философия свободы» осуществлён анализ, основанный на выявлении объективных факторов, явлений свободы-зависимости. Дано научно обоснованное определение понятия свободы, как главного жупела антирусской и антисоветской пропаганды западных служб и наших диссидентов, ставшего крючком для улавливания их слабых душ «рыбаками» из ЦРУ. В разделе «Основы антропоценологии» также рассматривается проблема свободы и зависимости, превратившаяся в наше время в проблему существования кредитного рабства. Здесь рассмотрены достоинства и недостатки марксисткой политэкономии, дан критический анализ понятию «социально-экономическая формация» и её важной категории – «стоимость», дано её более строгое определение. Ввиду явной некорректности понятия СЭФ предлагается более обоснованное наименование исторически определённого социума – антропоценоз. Понятия «базис и надстройка», а также источник прибавочного продукта и прибавочной стоимости представляются заведомо неточными и не диалектично истолкованными даже с позиций односторонне понимаемой в марксизме диалектики.

В заключительном разделе «Поиск путей возрождения России» критически рассматриваются наиболее существенные представления о будущем нашей страны. Это – религиозно-теократические взгляды на будущее РФ; мистифицированные представления о социалистической России будущего и – официально провозглашённые планы возрождения России.

В «Заключении» Книги представлена модель совершенного антропоценоза, применительно к российской действительности. Показаны идеологические, теоретические и методологические

основания формирования модели совершенного антропоценоза, применительно к внешним и внутренним условиям Российской Федерации, представлен макет такой модели (в Приложениях Книги).

О нашей жизни, смерти и бессмертии

Поскольку любому человеку важно знать, конечно ли его земное бытие, или он вечен духовно и телесно, как утверждает религия, поскольку, дескать, после Страшного Суда все безгрешные или прощённые Богом люди воскреснут и уже будут жить вечно, то это необходимо рассмотреть подробно. Сознание было чудесным даром природы и результатом собственных усилий человека в преодолении им всяческих невзгод. Но этот дар нёс людям и большую неприятность: человек, в отличие от животных, осознал, что он смертен (животные этого не знают). Понимание своей конечности во времени и представление, что его после смерти никогда уже не будет, стало для человека настоящим проклятием, которое он уже десятки тысяч лет пытается стряхнуть, мечтая о вечности своего бытия, хотя бы и в другой форме или вообще бестелесно («духовно»). Отсюда и индуистское представление о карме, как вечном перевоплощении человека и, конечно, общерелигиозное убеждение о духовной вечности человека, в чём и заключается одна из важнейших социально-психологических функций религии – дарить утешение, т. е. компенсаторная функция. Но уже в философии древних цивилизаций и в Греции VI века до н. э. возник материалистический взгляд на Мир и самого человека, отрицающий его вечность в духовности, хотя и здесь были попытки утешить человека в его смертности. Так, Эпикур говорил, что смерти не стоит бояться, поскольку, пока человек жив, смерти нет, а когда она пришла, то уже человека нет. Но это, конечно, слабое утешение. Человек-то часто боится не самой по себе смерти, а то, что его уже никогда не будет.

Современная наука подтверждает материалистический взгляд на Мир и самого человека, опровергая религиозный взгляд на вечность его духовности, рассматривая её лишь как психическую деятельность людей, которая умирает вместе с человеком – и проклятие конечности бытия вновь возвращается к нам. Но наука всегда стремилась фактами и логикой или хотя бы только логикой, но найти реальное утешение людям в их страхе перед конечностью бытия. Уже материалист-диалектик Гераклит говорит о том, что Мир как огонь мерами возгорает и мерами затухает, так что в нём всё повторяется. Его последователи философы-стоики конкретизировали идею пульсации Вселенной, будучи убеждены, что всё абсолютно повторяется вплоть до деталей: после мирового пожара вновь возникает тот же мир, те же вещи, лица и их мысли. Идея повторяемости Мира возникала

из очевидного факта цикличности движения Солнца, Луны, звёзд, смены времён года, дней и ночей.

Но это всё же было косвенным доказательством цикличности бытия Мира, поскольку люди видели лишь его некоторые части. Что же касается представления о бессмертии души, то оно вообще ни фактами, ни логикой не подтверждалось, а было лишь как «нас утешающий обман». Хотя его преимуществом вплоть до нашего времени оставалась его всеобщая доступность, чего нельзя было сказать о философских взглядах на этот вопрос.

Однако наука медленно, но верно расширяла реальные знания людей о мире, росла их грамотность, и это всё теснило религию, делая сомнительными все её догмы, в том числе представление о бессмертии души. Ренессанс, а за ним эпоха европейского Просвещения Нового Времени покончили со схоластикой католицизма, а в умах грамотных людей утверждался материализм, хотя ещё и в грубой форме механицизма, что давало основание его критики со стороны идеалистической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) и философии католицизма – неотомизма. Но материализм Фейербаха, синтезированный Марксом и Энгельсом с диалектикой Гегеля, – диалектический материализм – породил в умах даже самых стойких идеалистов сомнение в истинности религиозных догм, а российская интеллигенция и до Маркса уже была почти поголовно атеистичной. Ведь и А. С. Пушкин называл себя аферистом (так тогда называли атеистов). Под влиянием идей европейского Просвещения атеизм достигал самых верхов тогдашнего общества, так что даже прусский король Фридрих Великий откровенно признавался в безбожии и кирху не посещал. А идея повторяемости Мира и его духовной стороны вновь стала просматриваться и тоже только на логико-философской основе в рамках диалектического материализма. Энгельс писал: «Материя во всех своих превращениях остаётся вечно одной и той же, так что ни один из её атрибутов никогда не может быть утрачен. И поэтому с той же самой железной необходимостью, с какой она когда-нибудь истребит на Земле свой высший цвет – мыслящий дух, она должна будет его снова породить где-нибудь в другом месте и в другое время» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч., т. 20, с. 363).

Конечно, и здесь, порадовавшись за вечность человечества и его духовной сущности в их повторении, отдельный индивид неизбежно спросит: а я-то лично – повторюсь? Тогда наука ещё не могла отдельному человеку или его роду этого обещать. А современная – может!

Да, вот уже теория вероятности сформулировала закон:

в бесконечности все события и состояния равновероятны. А теория относительности выявила относительность времени даже для нашего конечного мира. Теперь можно сказать, что наука пошла дальше религии и гарантирует человеку со стопроцентной вероятностью, что он вечен не только духовно, но и телесно. Диалектика конечного и бесконечного здесь обнаруживается в том, что, будучи в этом конечном, предельном мире сам конечным, ограниченным временем жизни, смертным – в ином, Беспредельном мире, как и его ойкумена, он по своей неизбежной повторимости – бессмертен! Гарантией тому является не только бесконечность вакуума-поля, мира Потенциального, где все события и состояния равновероятны и потому с неизбежностью повторяются, и в котором наш конечный мир обретается, – но и сама его предельность. Конечность нашего мира определяет ограниченность его внутреннего разнообразия, как бы это разнообразие не казалось нам велико, что увеличивает вероятность и частоту его повторяемости. И потому в Мире Беспредельном в бесконечном процессе «случайных» флуктуаций наш мир воспроизводится с абсолютной необходимостью. Флуктуации эти, однако, не случайны, а определены как неизбежность характером виртуальных частиц, имеющих хотя и исчезающе малую долю механической массы, однако становящейся «затравочным» материалом для флуктуациии взрыва. Поэтому в Мире Потенциальном, бесконечном по времени и пространстве, абсолютная идентичность отдельных конечных миров является совершенно неизбежной. …

Что касается моего здоровья, то оно соответствует человеку в 90 лет – мешок болезней: здесь болит, там щемит. Я тут в газете вычитал про одну женщину в 90 лет, врача, до сих пор работающую в больнице. Корреспонденты к ней: что да как? Она говорит, что всё ещё ничего, только хожу как черепаха. Вот и я сейчас хожу как черепаха, но в большом для одного человека доме всё делаю сам: готовлю себе, убираю в доме и на дворе, зимой топлю печь, стираю вручную (рукам нужна работа), кормлю свою свору собак. Так что я и повар, и уборщик, и истопник, и трубочист, и прачка – всё в одном лице. Да ещё что-то и пишу. Приближение к черепашьему шагу шло давно, и мой неуверенный шаг обнаружился два года назад. Этому способствовала обнаружившаяся уже в мои 40 лет гипертония. Она проявлялась заложением ушей в самолёте, метро и при плохой погоде. Это определило и то, что я после выдавливания меня высоким начальством из заповедника, не смог вернуться в Ленинград, а уехал в Одессу – питерские низкие тучи осенью давили на меня. Из-за этого у меня были проблемы с получением

водительских прав и лицензии на хранение оружия, которое для меня, одиноко живущего в лесу, было необходимо. А после аврального обучения студентов и десятиклассников, поскольку за один семестр им нужно было прочитать лекции за два семестра, у меня начался шум в голове. Он и сейчас присутствует, хотя я его чаще всего не замечаю, уже почти 30 лет.

Моя ностальгия по Северу и поездка в Умбу

Будучи два года назад в Питере, я выбирал, куда поехать – в Псков или на Север. Поехал на Север – меня туда больше тянуло. С поездкой в поезде оказались проблемы. Я хотел поехать не в купейном вагоне, а в СВ, но цена в литерном вагоне до Кандалакши оказалась дороже, чем от Сочи до Питера, и я взял билет в купейный на верхней полке – нижних мест уже не было. В купе оказалась женщина с двумя мальчиками, а днём к ним приходил другой, их сверстник из соседнего купе. Мальчишки играли и ссорились. И вот слышу – четырёхлетний гость громко кричит сидящему на верхней полке мальчику, тыкая в него пальцем: «Я тебя блокирую, блокирую!» (Они ехали из Ленинграда и наслышались о блокаде.) Я спросил мальчика: знает ли он, что значит блокировать, и тот не задумываясь ответил: «Конечно. Это значит выделять, ограничивать». Я подивился правильности ответа, интеллекту четырёхлетнего мальчишки. И порадовался – хорошая растёт смена. Ведь здесь и взрослый бы задумался. Поэтому мне тут же припомнился случай с замом по науке СНИЦ РАН Светланой Ивановной Мишулиной. Она бежала за мной по Театральной улице, когда я шёл домой, прося остановиться. Спрашиваю: что случилось? Она: «Мы не можем определить, что такое „критерий“, помогите». Я задумался, поскольку, употребляя этот термин, не вникал в его суть. Наконец я определил его, и обрадованная Светлана Ивановна побежала обратно. А тут маленький мальчишка даёт ответ, не задумываясь.

На Дворцовой набережной

Школа 256, где я окончил семилетку

У львиного мостика, где я бегал в школу

Первая встреча с биографом. Фотография дочери Н. Н. Стиценко

Из Кандалакши до Умбы ехал в маршрутке по хорошему асфальтированному шоссе – в моё время работы под Умбой туда вообще никакой дороги не было – добирались пароходом. Оказывается, что бывший посёлок Лесной порт, куда мы приехали, теперь называется Умбой, хотя и древняя деревня Умба тоже существует рядом. Когда в находящийся рядом с остановкой клуб я зашёл спросить, где здесь гостиница, в клубе оказалась только одна его заведующая. Она вышла со мной на улицу и подробно рассказала, как найти более дешёвую гостиницу. В гостинице меня тоже встретили приветливо и двухместный номер определили как одноместный, но за ту же плату, по нашим временам довольно умеренную. На первом этаже была небольшая пекарня, и я утром там купил горячие пирожки. А еду готовил сам в имеющейся в гостинице кухне, закупив продукты в ближайшем магазине. В общем, устроился хорошо.

Утром отправился искать дорогу в деревню Умба. Идя по улице к центру, спросил у мальчика, наливавшего в вёдра на тележке воду из уличного крана, как пройти к ней. Тот, даже не закончив свою работу, с энтузиазмом предложил меня туда проводить, только попросил подождать, пока он сбегает за велосипедом домой. Мы шли по улицам и переулкам, пока не вышли на окраину посёлка. Он то шёл пешком, то тихо ехал рядом. Дальше дорога была прямой, и я предложил ему

вернуться, поблагодарив за услугу. Пройдя по шоссе ещё с километр, увидел хороший мост через порожистую реку Умбу и красочный стенд перед ним, где описывалась история деревни, возникшей ещё во времена Ивана Грозного. Раньше здесь ни шоссе, ни моста не было, а только пешеходный мостик через речку у большого и очень шумного порога, так что здесь было трудно разговаривать. Шум порога был своеобразным символом деревни Умба. Порог был уничтожен, и этот «символ» исчез, как исчез и старый дом экспедиции, к которому я шёл. На его месте был построен дом какого-то предпринимателя из… Одессы, хотя дом по-прежнему назывался домом экспедиции – она сохранялась в памяти Умбы. Более того, стоявший рядом с ним дом сохранился в прежнем виде, и в нём проживала ещё живая бабуля, работавшая в экспедиции! Я её увидел у теплицы, собирающую на открытой грядке клубнику, созревшую здесь только в сентябре, и её фотографировал, а она покорно позировала. Она оказалась старше меня на два года, т. е. когда мы работали вместе, мне было 18, а ей 20 лет. Старушка сказала, что у неё в трудовой книжке есть и запись о работе в экспедиции, и пенсия поэтому у неё оказалась хорошей. Я, конечно, её не помнил, тем более что она в доме экспедиции была уборщицей и сторожем, а в нём я бывал редко.

В посёлок возвращался на случайном такси, а у гостиницы таксист попросил меня не уходить, поговорить с ним, и в номер я вернулся только через час.

На следующий день пошёл в находившийся недалеко магазин сувениров (так значилось на вывеске) – он оказался клубом и фактически музеем Умбы. В магазине тогда посетителей не было, и я разговорился с двумя его хозяйками. Они много чего рассказали об истории Умбы и с интересом приняли мой рассказ об экспедиции и её целях, о живой ещё старушке, работавшей в ней. Сходил в гостиницу за привезённым экземпляром последней моей книжки и с соответствующей надписью подарил её музею. В ответ они подарили мне магнитики на холодильник с видами деревни Умбы. У них же купил диск с народными песнями Терского берега Белого моря.

Хотел побывать в бывшем рыбацком посёлке Порья Губа, где теперь был центр Кандалакшского заповедника, куда от шоссе шла лесная дорога, но она была настолько мало проезжей, что таксисты ехать отказывались.

В Кандалакшу возвращался в той же маршрутке, но сидел рядом с водителем, разговорились. Он поведал о транспортных проблемах Умбы, о том, что иной, кроме шоссейно-автомобильной, связи у неё нет, поскольку пароход больше не

ходит и авиация исчезла. Так как до прихода моего поезда оставалось много времени, да и ожидаемый водителем поезд из Питера придёт ещё позже, то портфель я оставил в маршрутке и, купив билет – сейчас уж в СВ, – пошёл осмотреть город. Предварительно зашёл в кафе перекусить, да и туалет на вокзале был только здесь, причём платный. Перекусив, я воспользовался привилегией ветеранов бесплатного туалета (об этом была надпись на нём). Но тут молодой буфетчик удивлённо спросил: «Вы что – ветеран? Сколько же вам лет?» Я сказал: 88. Он: «Не может быть! Покажите паспорт». Показал, но тот ещё больше удивился: «Вот чёрт, правда!» За этой комедией с интересом наблюдали все посетители кафе. Я заказал ещё что-то. Буфетчик принёс и, подсев ко мне, с энтузиазмом понёс какую-то ахинею о политике. Я не возражал – бесполезно. Подошло время, и я попытался в маршрутке забрать свой портфель, но водитель взял его и понёс его впереди меня. Мне было неудобно, и я попытался портфель забрать, но он возразил: «Ну что вы, мне помочь вам за радость». Подошёл поезд, и он занёс портфель в вагон.

А ранее, когда брал в кассе билет, рядом оказалась пассажирка маршрутки, сидевшая рядом с кабиной и слышавшая наш разговор с водителем. Она была учительницей в школе и попросила меня сфотографироваться с ней: «Я о вас буду рассказывать школьникам». Пишу обо всём этом потому, что такого отношения человека к человеку ни в Питере, ни в Москве, ни в Сочи не встречал – здесь, на Севере, другие люди. Этот фактор, наряду с природой севера, и привлекает людей с юга. Разве не удивительно, что жительница Закарпатской Украины организовала создание книги «Путешествие в Колвицу» (не очень древнее селение на Терском берегу между Кандалакшей и Умбой) и каждое лето сюда приезжала. Я тоже обещал вновь приехать в Умбу, только удастся ли?

Гипертония, ухудшение зрения и мои спонсоры

В конце концов гипертония меня достала год назад небольшим инфарктом. После этого я хотя и ходил, но иногда падал и вставал с трудом. Из инфаркта я вышел достаточно быстро путем голодания, но черепаший шаг остался. Другим моментом потери здоровья было ухудшение зрения: вначале возникла катаракта на левом глазу, которая и сейчас имеется, чего я долго не замечал, потому что правый видел хорошо. Но и он стал видеть всё хуже и хуже, так что водить машину стало небезопасно, поскольку я плохо видел дорогу. Но здесь мне вдруг повезло: работавшим недалеко от моего дома соседям по участку, который они чистили, я подарил две свои книги, и они после этого увидели, заглянув в Интернете в Википедию мою биографию, в меня уверовали и стали в моей жизни старого бирюка существенно помогать. И не только выкосили мой заросший участок, очистили мотопилами двор от закрывавшего его от солнца орешника и лавра, но и отремонтировали мой водопровод на дворе. Это были наследники бывшего хозяина большого соседнего участка Бориса Павловича Лямина. Мы с ним часто общались, и я узнал, что он страдает диабетом, и посоветовал ему лечиться голоданием. Но он сказал, что лечить диабет голоданием врачи запрещают. Это, конечно, не просто глупость плохо знающих человеческий организм медиков. Это преднамеренная ложь в личных интересах людей, которым опасно, если люди, особенно пожилого возраста, будут лечиться не их таблетками и наставлениями – и тем самым не понесут им свои зарплаты и пенсии, а известными методами самолечения. И, увы, мой дорогой сосед, как и многие мои знакомые, умер от диабета. И в этом не только вина хищной индустрии сахара, но и подобного рода медиков. Наследниками Бориса Павловича, сейчас помогающими мне, являются его племянник, работник правоохранительных органов, сейчас в отставке, но продолжающий работать в общественных организациях этой системы, Владимир Денисович. И его внук, по профессии дизайнер, Борис Лямин. Он отремонтировал мой телевизор, сделал у меня в доме электропроводку более безопасной, поставил на первом и втором этаже кондиционеры и еженедельно привозит на своём джипе мне продукты, лекарства и почту, а иногда по необходимости возит меня в банк.

Но главное то, что он организовал моё лечение глаза.

Благодаря его хлопотам и перевозки меня, мне в глазном платном отделении сочинской четвёртой больницы сделали операцию на правом глазу. Ликвидировали катаракту и установили японский (считающийся лучшим) хрусталик, и я теперь хорошо вижу, особенно вдаль, но и вблизи, хотя для мелкого шрифта и ноутбука очки нужны. Левый глаз ещё видит, но как через закопчённое стекло. Платно на нём операцию делать отказались, а от бесплатной я сам отказался, так как успешность операции мне не обещали. Нужно было ехать в глазной центр Краснодара, но тогда помешали проблемы и опасности с коронавирусом. Дома от него я защищён своими собачками. Ведь давно установлено, что собаки этой болезнью не болеют, как и их хозяева. От подобных инфекций они защищены природно-естественным отбором, поскольку как стайные животные давно бы вымерли. Меня поэтому удивляет, почему до сих пор ни медики, ни биологи не спешат выяснить, что это за защита: похоже, она содержится в самом псином запахе. Во всяком случае, я любитель собачек (с ними легче общаться, чем с людьми, они честнее – и реже кусаются), не болею гриппом уже более 60 лет. А вот «ремонт» левого глаза нужно делать в ближайшее время, поехав в Краснодар или Москву.

Мой друг и спонсор Борис Павлович Лямин

Неизбежно в 90 лет приходится задумываться о таких серьёзных вещах, как жизнь и смерть. Что касается вопроса о нашей смерти и бессмертия, то теперь наука его решает положительно. У меня этот вопрос решается в рамках Генерального плана Мироздания, являющимся пятой версией научной Картины Мира. Дорогие земные братья, удручённые мыслию о бренности своего существования на этой грешной земле – поздравляю Вас с Благой Вестью об обретённом наукой знании бессмертия в нашей вечной повторяемости.

Радуюсь за себя и всё человечество, однако должен заметить,

что медаль и здесь о двух сторонах: мы повторялись и повторимся не только в Добре, но и во Зле. Да, в мире Беспредельном существовали и будут существовать планеты, где процветают более совершенные и справедливые сообщества людей – но это уже не мы. А нам, чтобы вечно не повторяться в алчности и жестокости, необходимо отрешится от этого и быть к себе и другим людям более милосердными. Не творить зло, которое, увы, растёт, и, как сказал американский поэт Уильям Йейтс, «мир захлестнули волны беззаконья, кровавый ширится прилив и топит стыдливости священные обряды. У добрых сила правоты иссякла, а злые будто бы остервенились…». А как добрым остановить злых и лживых, еще сто лет назад говорил Лев Николаевич Толстой: «Я хотел сказать только, что все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, что, ежели, люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать то же самое – ведь как просто!» Эта мысль проста и верна, но людям честным сложно и трудно объединиться, поскольку сейчас уже огромное число грамотных и потому понимающих людей, с высоким уровнем сознания, обретаются в царстве лжи и сами вынуждены лгать и изворачиваться. Причина же лжи и обмана – буржуазно-капиталистический индивидуализм, суть которого проста – алчность в наживе. Отсюда и «свобода» предпринимательства и «свободная» конкуренция. Они не свободны, а рабы капитализма. Поэтому честные люди могут объединиться, а нечестность утратит смысл только после ликвидации наживы, когда она для любого человека потеряет смысл. Путь к нему только через ликвидацию капитализма, провоцирующего идею и саму потребность в наживе, – через социализм к коммунизму.

И да будет так. Аминь.